



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Анна
Матвеева

Финалист премий
«Национальный
бестселлер»
и «Большая книга»



ГОРОЖАНЕ

Удивительные
истории
из жизни людей
города Е.

Анна Матвеева
ГОРОЖАНЕ
Удивительные истории
из жизни людей
города Е.



Посвящается
всем жителям Екатеринбурга —
лучшего в мире города!

Анна Матвеева

ГОРОЖАНЕ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
ИЗ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
ГОРОДА Е.



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
МЗЗ

Художественное оформление *Ирины Сальниковой*

В оформлении переплета использована фотография *Анны Матвеевой* (фотограф *Дмитрий Скутин*)

Идея книги принадлежит **ЕЛЬЦИН
ЦЕНТР**

Матвеева, Анна Александровна.

МЗЗ Горожане. Удивительные истории из жизни людей города Е. : [рассказы] / Анна Матвеева. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. — 347, [5] с.

ISBN 978-5-17-100421-7

Книга «ГОРОЖАНЕ» — это девять новелл, восемнадцать героев. Один необычный город глазами Анны Матвеевой: лицом к лицу.

Здесь живёт драматург с мировым именем Николай Коляда, родился великий скульптор Эрнст Неизвестный, встретились когда-то и подружились опальный маршал Жуков и знаменитый уральский сказочник Бажов. Владимир Шахрин — ещё не ставший лидером легендарной группы «Чайф» — меняет пластинки на барахолке, Евгений Ройзман — будущий мэр — читает классиков в тюремной камере; на улицах эпатирует публику старик Букашкин — незабываемое лицо города. Ещё стоит нерушимо Ипатьевский дом — место казни императорской семьи, а будущий хозяин города Борис Ельцин — пока только студент.

Новая книга Анны Матвеевой о всех них — людях, домах, историях города Е. Парные портреты ярких личностей соединяют дальние века и рифмуются судьбами.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Матвеева А.А.
© ООО «Издательство АСТ»

ISBN 978-5-17-100421-7



СОДЕРЖАНИЕ

СМЕХ МЕЛЬПОМЕНЫ

Ян Вутирас и Виталий Волович

7

ИМЯ НА КАМНЕ

Константин Матвеев и Александр Матвеев

35

ПАРТИЯ В ПОДДАВКИ

Павел Бажов и Георгий Жуков

61

ДОРОГА В НЕБО

Георгий Бахчиванджи и Эдуард Россель

83

ДОМ, КОТОРЫЙ...

Николай Ипатьев и Борис Ельцин

109

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ

*Евгений Малахин (Старик Букашкин)
и Николай Коляда*

149

ВЕСЁЛЫЙ БОГ РАБОТЫ

Белла Дижур и Эрнст Неизвестный
203

ГЛОРИЯ МУНДИ

Василий Татищев и Евгений Ройзман
245

КАК СМЕНИТЬ ПЛАСТИНКУ

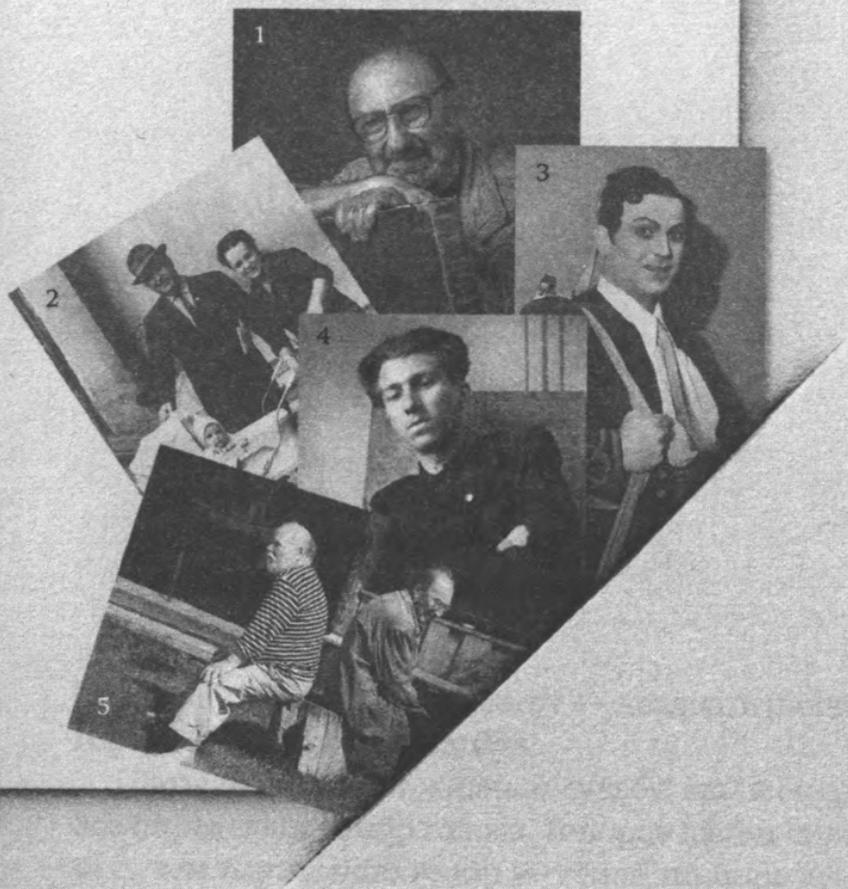
Владимир Мулявин и Владимир Шахрин
317

Литература

345

Благодарности

349



СМЕХ МЕЛЬПОМЭНЫ

- 1, 4 *Виталий Волович — художник, который любил
петь*
- 2, 3 *Ян Вутирас — любимец свердловских театралов*
- 5 *Виталий Волович и Михаил Брусиловский*

1

Мальчику — десять лет, театру — двадцать шесть, городу — двести пятнадцать.

Даты определяют жизнь и судьбу, как в опере всё определяет тембр голоса. Теноров любят сильнее, чем баритонов, тенор — герой по определению, а баритону всякий раз приходится доказывать, что он тоже может им стать.

Голоса из чёрных репродукторов долгое время не имели судьбы и жили отдельно от тел, зато у них были имена — тарелки на столбах задушевно объявляли специально для мальчика: *поёт Ян Кипура* (похоже на Йом-Киппур, если произносить быстро), или *Беньямино Джильи* — имя звучит без всякой музыки, оно и есть — музыка. Ария Рудольфа из «Богемы»: «Холодная ручонка, надо вам её согреть...»

Мальчик не примерял к себе голоса из чёрных тарелок — воистину инопланетные в бе-

ло-сером графичном Свердловске. Разве что в школе пел вместе со всеми и даже танцевал, как умел, — трот-марш.

Мимо театра мальчик ходил довольно часто — белое, со взбитыми сливками, здание-торт. Совсем ещё молодой театр, совсем невеликий мальчик, туман будущего — лист бумаги, на котором пока ещё ничего не нарисовано. Над ним думают, вертят в руках так и этак. Мальчик любит рисовать, возможно, он станет художником. А театр, говорят, был построен по образцам одесского и венского — но мальчик не был ни в Одессе, ни в Вене, ему не с чем сравнивать. Ещё говорят, что проект театра назывался женским именем «Светлана», поэтому мальчик мог бы считать Светланой одну из трёх девушек, пристроившихся на фронтоне здания, но мальчик много читает и знает, что это — музы. Талия, Мельпомена, Терпсихора. Мельпомена — главная из трёх сестер, нечеховских не-мойр. Она самая высокая (три метра сорок сантиметров) и держит над головой факел — всё правильно, трагедия всегда во главе, и только в свете её факела можно различить другие события жизни — радости, успехи, недолгое счастье...

Родился мальчик далеко от Свердловска: если смотреть по карте — закружится голова, если приставить к ней (к карте, а не к голове) школьную линейку — длины не хватит. Иногда не получается мерить всё одной линейкой.

Владивосток, где жила его мама, и Спасск-Дальний, где родился он сам, — далёкие точки на географической карте. Владивосток так опасно висит на боку материка, что кажется, вот-вот рухнет в воду, а рядом с городом Спасск-Дальний кто-то пролил синюю каплю — озеро Ханка. Невозможно представить себе, как мальчик жил бы в этих городах-точках, они не имеют никакого отношения к ним с мамой — и к Свердловску.

Его мама — писательница Клавдия Филиппова, единственный родной человек. Так сложилось, что других родственников у мамы с мальчиком нет — во всём мире, в Свердловске, в Спасске-Дальнем, в Одессе и тем более в Вене. Конечно, у него был отец (отцы есть — или, по крайней мере, были — у всех), но тот человек не хотел быть отцом и сказал маме фразу, которая будет горячо биться в висках мальчика всю жизнь: «Выбирай: или я, или ребёнок».

Она выбрала ребёнка, назвала его самым живым, жизненным именем — Виталий. Потом, в очень далёком будущем, расстояние до которого тем более не измерить школьной линейкой, одна умничающая девушка расскажет, что Виталий — монашеское имя: мирян так прежде не называли, не было принято. Второе монашеское имя, по сведениям девушки, — Виктор. Интересно, что мальчика дома называли Витей, а не Виталиком или Виталей.

Ну вот уж монахом он точно не был! И с де-вушками не только умничал, но всё это было позже. А в 1938 году, когда чёрные тарелки пели на разные голоса, они уже довольно долго жили в Свердловске — почему мама выбрала из всех российских городов именно этот, суровый, заводской, графичный, мальчик не знает и не знает. Возможно, потому что он был расположен очень далеко от Спасска-Дальнего, где жил мужчина, не желавший стать отцом, но ставший им? Глядя на Мельпомену, упрямо освещающую фонарём площадь Парижской коммуны, мальчик думает — возможно, потому, что здесь был оперный театр.

В Свердловске его мама много работала, у неё выходили книги, она дружила с коллегами, и они любили её — хотя писатели обычно никого не любят, особенно коллег. К маме нежно относился Павел Петрович Бажов, пока что не превратившийся в бюст на фасаде библиотеки имени Белинского. Ещё один перескок в будущее — иначе нельзя, если пишешь о прошлом. Юная краеведка показывает иностранному гостю бюсты на фасаде Белинки, бойко перечисляя: «Толстой, Маяковский, Белинский, Мамин-Сибиряк, Горький, Пушкин...» Как вдруг запинается, глядя на Бажова: «А это, а это... ещё один Толстой!» Иностранец не удивился — точнее, он уже устал удивляться российскому свое-

образию, и почему бы дважды не увековечить на одном и том же фасаде великого русского писателя?

В 1938 году никто не думал о мемориальных досках и славе...

Мама вышла замуж, у отчима были свои сын и дочь, а ещё у него были отличная библиотека, патефон и пластинки. На одной из пластинок записаны куплеты Эскамильо:

Стремясь вперёд,
он кровью уж обагрывает цирк
Тут у многих духу не хватает.
Твой черёд настает!
Тореадор, смелее!
Тореадор, тореадор!
Знай, что испанок жгучие глаза
В час борьбы блестят живей,
И ждёт тебя любовь, тореадор!
Там ждёт тебя любовь!

Мальчик до недавней поры с удовольствием ходил в цирк и очень любил его — но Эскамильо поёт совсем о другом цирке. По-русски поёт — все оперы в Свердловске, как и в других театрах СССР, исполнялись в переводе. *Зрители должны понимать, о чём идёт речь на сцене.*

— Это из оперы «Кармен», композитор Бизе, — объяснила мама.

Одноклассница Аля Рылова, в которую мальчик страстно влюблён (он всегда влюблён — для него это нормальное состояние, а не наоборот), ходила в театр *слушать* эту оперу. Ещё одно открытие — оперы не смотрят, а слушают.

Теперь они идут в театр вместе: десятилетняя девочка и десятилетний мальчик — кажется, с ними увязался кто-то ещё, друзья из поющего класса.

Три года до войны.

Билеты на галерею — самые дешёвые, мальчик не знает, что истинные ценители всегда выбирают места *повыше*: здесь самый лучший звук. Жаль, что декорации с галёрки не рассмотришь в подробностях и лица артистов приходится додумывать... В антракте они обязательно спустятся в партер, сидят на стульях фирмы «Тонет», сунут нос в яму, где скупают брошенные инструменты, и — снова вверх по лестнице, *знай своё место*. Где-то там, над ними, Мельпомена тянет вверх свой факел. По улице сани везут корзину с торфом, покрытым брезентом, мама прячет в шкаф керосинку, которой почему-то нельзя пользоваться в доме, а здесь, на сцене, — Испания, Севилья, табачная фабрика. И вдруг выходят люди — артисты, в костюмах, как и должно быть в театре: но вместо того, чтобы говорить, они начинают петь! Кто бы мог подумать, что в опере поётся всё — не только ария про холдную ручонку или куплеты Эскамильо.

Можно спеть целую жизнь.

(Или нарисовать.)

Ни петь, ни рисовать — как говорят о крепко выпивших — это не его случай. Его случай — выбрать одно из двух, вырастить голос (у него — солидный баритон, ну ладно, баритончик!) или положить на тот, внутренний, неслышимый голос художника, который в детстве заставлял его плакать от отсутствия чистого листа. Не на чем рисовать — вот это горе.

А вдруг получится и то, и это? Берёшь два горошка на ложку, хватаешь сразу двух зайцев за уши и удобно садишься между двумя стульями фирмы «Тонет» — почему бы и нет? Бородин вообще был химиком — но написал «Князя Игоря». А Чехов — врач. А мальчик представляет себя солистом оперы (лучше бы, конечно, тенором) и в то же время художником, придумавшим декорации к «Аиде», «Травиате», «Фаусту»...

Отныне мальчик ходит в оперный почти каждый вечер — билетёрши кивают ему, как знакомому, иногда пускают бесплатно.

Дома он рисует или читает о рыцарях Круглого стола: так увлекается, что не слышит мамин голос из-за стенки:

— Я ещё утром просила тебя вынести помойное ведро!

Свердловск — выпцветший дагерротип, из которого так легко и приятно уйти в другое время, где

блестят латы, падают забрала и рыцари ведут себя по-рыцарски, а мушкетёры — по-мушкетёрски.

Однажды летом из чёрной тарелки сказали, что фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину.

Мальчику — тринадцать. Городу — двести восемнадцать. Театру — двадцать девять.

2

Театр оперы и балета, театр оперы — и билета... Не всегда получается выкроить денег, но сердобольные контролёрши иногда кивают ему, не глядя в глаза: «Проходи!» Как будто стесняются собственной доброты. Мальчик так плохо одет — а впрочем, кто сейчас хорошо одет? Рваная телогрейка, башмак с оторванной подмёткой. И голодный, наверное. А впрочем, кто сейчас не голодный?

Мама однажды спросила — что бы ты первым номером сделал, Витя, если бы война закончилась прямо сейчас?

Он ответил быстрее, чем она договорила:

— Купил бы целую булку хлеба и съел её.

Не понял, почему мама заплакала — разве он сказал что-то грустное?

Свердловск, глубокий тыл. Надёжное место для того, чтобы спрятать самое ценное — машиностроительные заводы, картины из Эрмитажа,

диктора Левитана, прославленных теноров, баритонов, сопрано и контральто.

Идёт война, а под фонарём Мельпомены идут спектакли.

К ним в квартиру «по уплотнению» вселяют эвакуированных из Одессы — коммерческий директор военного завода Мирон Григорьевич, его жена Лия Львовна и дочка Рая. Вот она, Одесса, сама пришла, как гора из поговорки. Лия Львовна любит оперу, разбирается в музыке — с ней интересно разговаривать, обсуждать голоса и дирижёров. Она поддерживает мальчика и откуда-то знает — опера защитит его, музыка спасёт от войны, а пение — от голода.

Пластинки и походы в театр делают своё дело — теперь мальчик знает наизусть партии Риголетто и Онегина. Вечером на галерее он подпевает любимцам публики — но этого, к счастью, никто не слышит, поёт лишь его внутренний голос.

Других театров мальчик не знает, Свердловский оперный — единственный в его жизни и поэтому самый лучший. Войной — как в невольной рифме, волной — сюда принесло известных дирижёров, музыкантов-виртуозов и солистов, которых знал весь Союз. Густая кровь, мощные голоса, от которых плавится зал и вибрируют ложи.

В 1941 году в Свердловск приезжает греческий баритон Ян Вутирас. В Трапезунде его звали Яннис;

новая родина первым делом отхватила пол-имени, а потом последовательно научила бояться и петь.

Поёт он божественно — если допустить, что боги умеют петь.

«Вутиро» по-гречески — «масло». Голос Вутираса — мягкий, южный, с масличным привкусом, баритон. Когда маленькому Яннису исполнилось четыре, турки начали резню в Трапезунде: два ничем не связанных события, одно из которых навсегда изменило жизнь будущего Мазепы, Демона и Фигаро. Тёмной ночью семья Вутирас — родители и четверо ребятишек — бежали на лодке в Батум. Яннис стал Яном, брал уроки музыки у итальянца, потом переехал в Ленинград и учился в консерватории, у самого Николая Большакова. В Свердловске есть улица, названная в честь его однофамильца — пусть это и совпадение, но всё равно приятное. Вутирас окончил консерваторию и получил приглашение в Михайловский театр — это был удачный для него год, 1941-й, он так прекрасно начинался! У него и жена к тому времени была, и дочка — но вот тестю Вутирас не полюбился: бедный, говорит, не чета нам — да ещё и грека к тому же. Сунул руку в реку, то есть в карман, а там — дуля. Пусто. Дырка от бублика, на что семью кормить будешь?..

С женой они расстались, но чего стоят планы человека, когда у бога свой расчёт? Из брошенных в землю Ареса зубов дракона выросли воины,

страна разом вспыхнула войной — а в ленинградской дирекции вдруг вспомнили, что новый баритон — грек, иностранец, чужак, потенциально опасный тип. Можно сказать, уже сослали его от греха подальше в Среднюю Азию, да тут подвернулся свердловский оперный директор Макс Ганелин. Перехватил Вутираса буквально в воздухе — как акробат ловит неудачливого товарища, летящего с трапеции.

Главная цель директора провинциального театра — заманить на свою сцену выдающихся артистов. Вечная проблема — не выпустить их впоследствии из города. Каких только партий не пел здесь Вутирас! Как его обожала публика — все стены в подъезде родного дома исписаны признаниями... Поклонницы считали честью постоять в калошах Вутираса, оставленных перед спектаклем в ящике за служебным входом.

Вот девушки в партере возмущаются — нет, ну какая дура Татьяна! Как можно было предпочесть этого Гремина *нашему* Онегину? Я бы, говорит одна, закинула свой малиновый берет куда подальше — и к нему!

Мальчик со своего места в галерее не слышит этих слов и смеха — он ждёт, когда на сцену выйдут обожаемые солисты. Великая «тройка» — Даутов, Китаева, Вутирас. Нияз Даутов — тенор, герой в белом трико. Ленский, Мизгирь, Фауст... О нём шепчут разное, точнее, не разное — как раз таки

одно и то же, но любят его так же страстно, как и грека-баритона. Валентина Китаева — сопрано, красавица, Джульетта, Розина, Виолетта. В далёком будущем мальчик (уже давно не мальчик) придёт на похороны к старенькой примадонне Китаевой — и ни коллег, ни поклонников у гроба не будет. Но вот он же пришёл, Витя, Виталий Михайлович, для которого пела в голодные военные годы Валентина Китаева. Может, он и выжил потому, что они для него пели: Китаева, Даутов, Вутирас...

Позади театра растут две лиственницы — какое всё-таки странное название для дерева с иголками, пусть они и опадают, как листья, и лежат на снегу такие яркие, жёлтые... Пожалуй что, слишком жёлтые. Мальчик чувствителен к цвету, относится к нему с вежливой осторожностью. Он много рисует в последнее время, кажется, у него что-то получается — но очень сложно понять, получается ли это взаправду.

В доме очень холодно, и в художественном училище, куда приняли мальчика, тоже. Вода в стаканчиках покрывается коркой льда, ученики пробивают её кисточками. На улице теплее, чем здесь, пытаются шутить кто-то.

Слова «холод» и «голод» отличаются одной лишь буквой и повсюду ходят вместе. Когда ешь, немного согреваешься. Когда чуть согреешься, голод ненадолго отступает.

Мама болеет, и однажды мальчик не может найти дров, чтобы растопить печь. Он ворует берёзовую чурку с чужой поленницы, и мама страшно кричит на него. Это так несправедливо, ведь он украл полено для неё, чтобы она согрелась...

В ТЮЗе идёт спектакль по маминой пьесе «Костя-партизан». В дом приходят писатели, актёры, художники, эвакуированные из Москвы. Один такой художник — Феликс Лемберский — внимательно разглядывает рисунки мальчика и удивляется вслух:

— Но почему вы рисуете только чёрным и белым? Мир в красках так интересен...

С собой гости приносят угощение — кто что может. Чаще всего это яичный порошок — мама разводит его водой и жарит на сковороде большую бледно-жёлтую лепёшку, одну на всех.

3

Ян Вугирас хотел бы не вздрагивать от звука незнакомых шагов и дверного звонка, прижатого чужой рукой. Не бояться угроз, ножей, дурного взгляда и завтрашнего дня. Свердловск принял его, театр обласкал, публика — полюбила.

Но, боже мой, как здесь было холодно! И этот снег, от которого болят глаза, будто кто-то влез тебе под веки и водит туда-сюда ледяными паль-

цами... Конечно, он и в Ленинграде зябнул — тоже не Греция, но там не было такого мороза, чтобы враз леденели окна.

Лето в Свердловске — слабенькое, маломощное. Как украли.

Вутирас в первый же год работы в театре познакомился с молоденькой балериной — тоже приезжая, из Херсона. Родная, горячая кровь, тоска по климату, но, вообще-то, в первую очередь любовь. Они прожили вместе всю жизнь, но поженились далеко не сразу: шла война, у грека не было документов, он — подозрительный тип, иностранец. Эта ария исполнялась строго по нотам. Двоих детей родили, старшего Яна выпаривали в вате: он явился на свет недоношенным, а потом стал известным в Свердловске врачом.

Вутирас обожал свою жену, называл «моя статуэточка!».

Статуэточка держала дом и домочадцев железной рукой. У балерин вообще сильный характер.

По-русски Вутирас говорил разве что с самым лёгким акцентом, ну а когда пел — этого никто не замечал. Всё внимание зрителей — голосу, дару перевоплощения. Узнать Вутираса в гриме не могли даже близкие! Амонасро, Елецкий, Риголетто...

А мальчику Вите в последнее время казалось, что и сам он как будто носит грим. Скрывает под одной сущностью совершенно другую. Теперь ему

хотелось не только слушать любимые арии, но и петь самому. Каждый вечер в театре он примерял на себя роли Вутираса — казалось, придется в пору.

Свердловский театр во время войны — фабрика грёз, какая не снилась Голливуду. Сюда приходили, чтобы забыть и забыться. Реальность безжалостна: на рынке какой-то военный купил себе женщину, дома и в училище лютый холод, мама болеет, и всё время хочется есть. Раньше мальчик прятался в книгах, называл одноклассниц «сударынями» и вызывал врагов на дуэль. «Клянусь честью» — говорилось по любому поводу. Терерь он скрывался в театре. Театр был — другой мир. Дирижёр Маргулян становился перед пюпитром, закрывал партитуру и дирижировал по памяти. Открывался занавес, появлялся хор и солисты: ослепительные костюмы, блистательные голоса! Однажды Вутирас пел Онегина — в сцене объяснения стоял, облокотившись на берёзку, как вдруг она начала падать. Вутирас допел арию до конца, взял берёзку и унёс её со сцены.

Публика была в восторге!

Впрочем, она почти всегда была в восторге — солистам аплодировали по десять минут! У мальчика начинали болеть ладони, но в этом было такое счастье, такая великая радость — делать что-то со всеми вместе. Молитва атеиста, чудо оперы.

В театре, как в мечети или королевском дворце, есть женская и мужская стороны — мальчик знал об этом от мамы, она многое рассказывала ему — но всё-таки он не представлял себе закулисной жизни, хотя и примерял её к себе всё чаще.

И сам, незаметно для себя, но заметно для других начал петь. С утра до вечера исполнял арию графа ди Луна, каватину Феррандо и прочая, прочая, прочая... Домочадцы просили пощады. Пел он, без сомнений, громко, но оценить прочие качества исполнения мама и отчим не могли, а что с этим делать было жизненно необходимо — иначе вскоре все они оглохнут. Мама взяла телефонную книгу — искала номер Вутираса, но не нашла. Зато там был домашний телефон Иосифа Михайловича Вигасина — ещё одного солиста оперы, знаменитого Яго, которого мальчик тоже обожал.

— Мы с вами не знакомы, но именно вы — косвенный виновник моего несчастья, — заявила мама Вигасину. Яго заинтригованно молчал. — Дело в том, что мой сын увлечён оперой, обожает вас и изводит нас своим пением. Пожалуйста, умоляю, прослушайте его и скажите — стоит ли ему заниматься этим серьёзно. Если да, то мы готовы страдать, но если нет — пусть он всё это бросит и перестанет нас мучить, потому что это невыносимо...

Вигасин рассмеялся. Сказал, пусть мальчик придёт к нему завтра домой. Жили они на улице Шарташской, женой Вигасина была преподавательница консерватории с роскошным, прямо-таки сценическим именем Фрида Образцовская.

Мальчик шёл к ним, умирая от волнения, — долговязый подросток в старой телогрейке, ботинки сношены, как у тех статуй в монастырях, которые по ночам оживают и обходят нуждающихся. Подмётки он привязывал верёвочками, а драную телогрейку носил почти всю войну, пока маме кто-то не отдал для него старый рыжий кожан, к сожалению, женский. (Если не говорить, что он женский, — могут не заметить, и вообще, кому какое дело.)

Представьте, что чувствует молодой человек, когда дверь ему открывает любимый артист — такой неузнаваемый без грима... Представьте, что он чувствует, когда артист слушает его, почти не морщась, и признаёт — да, у вас есть голос, будем петь!

Фрида Образцовская стала играть с мальчиком гаммы, Вигасин ставил ему дыхание, слушал, поправлял. Однажды Витя исполнял романс Даргомыжского «Мне грустно», и Вигасин вдруг остановил его жестом. Набрал номер телефона Глазуновой — той самой Маргариты Разумниковны Глазуновой, меццо-сопрано, которая пела Далилу, Кармен, Кончаковну!

— Ну-ка, Маргарита, послушай! — сказал Вигасин и протянул мальчику телефонную трубку. Он пел в неё, как в микрофон, вначале робко, а потом всё больше доверяясь своему голосу, раскрывая душу, как книгу: «Мне грустно потому, что весело тебе...» — Что скажешь? — спросил Иосиф Михайлович, отобрав микрофон, то есть телефонную трубку у своего ученика.

— Скажи этому парню, — засмеялась Маргарита Разумниковна (а вместе с ней смеялись Кармен, Далила и Кончаковна), — если ему действительно грустно, не надо реветь, словно раненый буйвол!

...Война окончилась, город медленно приходил в себя — грязный, уставший и так-то неяркий, в конце сороковых он выглядел как сотый оттиск с гравюры. Голодные обмороки, ссоры в трамваях из-за пустяков: нужно время, чтобы прийти в себя, а точнее — выйти из себя прежних. Мальчик приходил на занятия в художественную школу и, фансоня, небрежно ронял на парту клавир своей любимой «Пиковой дамы» или ноты ариозо Тонио из «Паяцев». В мечтах он уже был оперным певцом, а изобразительное искусство потускнело, расплавилось под софитами.

Чтобы не сводить с ума домашних репетициями, мальчик уходил в безлюдный парк Павлика Морозова — и пел там во весь голос, не обращая внимания на холод и ледяной ветер, впивавшийся в горло сотнями холодных иголок.

А Ян Вутирас, всю войну дававший концерты на заводах и в госпиталях, вечерами по-прежнему выходил на сцену оперного театра. Близилась премьера его главного спектакля — «Симон Бокканегра», — как вдруг Вутираса снова решили выдернуть из привычной почвы: опасный человек, иностранец, грек. Судить, сослать, посадить. К счастью, секретарём обкома партии работал его страстный почитатель — в калошах он, может, и не стоял, но на поклонах хлопал так яростно, что руки горели ещё долго. Он отстоял Вутираса, а может, и не только он один. Свердловск не отдал своего грека.

Жили Вутирасы к тому времени на проспекте Ленина, 46, в Доме артистов. Соседи — Даутов и Китаева. Даже здесь все они были неразлучны.

Правда жизни и правда искусства отличаются друг от друга сильнее, чем холод и голод. По законам искусства Вутирас должен был хотя бы раз пройти мимо парка Павлика Морозова, где драл глотку юный певец Виталий. Но правда жизни неумолима — они так и не встретились нигде, кроме театра, причём Вутирас был на сцене, а мальчик — на галёрке. И всё же эти судьбы оказались зарифмованы, сведены к одному знаменателю театром и городом.

Распевки в зимнем парке Павлика Морозова окончились трагически — злокачественной ангиной. Мальчик не мог больше петь и снова вер-

нулся в зыбкий, ненадёжный мир изобразительного искусства, где тоже нужно было искать свой голос. Мама сочувствовала, но считала, что художник из Виталия получится скорее, нежели певец.

В 1945 году студентов художественного училища отправили «на отгрузку» картин из Эрмитажа — пережившие войну шедевры возвращались из тыла домой в Ленинград. Мальчик ловко подхватил очередной ящик, как вдруг работница Эрмитажа воскликнула:

— Бога ради, осторожнее, молодой человек! Здесь «Блудный сын» Рембрандта!

А в июне 1950 года умерла Клавдия Филиппова — мама мальчика. Похороны он помнит как сон — из тех, что снятся человеку всю жизнь.

Вот его будущая жена Томка, которую так любила мама.

Вот Павел Петрович Бажов говорит со слезами:
— Клавочка, милая... Это я должен был умереть. А тебе бы жить да жить...

(Бажова не стало в декабре того же года.)

Вот ещё какие-то люди — сочувствуют, плачут, суют деньги, обещают помогать.

Смерть в опере и смерть в жизни никогда не были сёстрами. Даже Мельпомена и Талия, трагедия и комедия, больше похожи друг на друга — не зря античные скульпторы изображали их

с одинаковыми лицами. Мельпомена вполне могла засмеяться, а Талия — заплакать.

Мальчик больше не поёт, но — вот интересно! — на всю жизнь с ним останется благородный, бархатный, вибрирующий баритональный бас. Когда он говорит с женщинами, те клянутся, что этот голос отдаётся у них где-то внутри. Возможно, так происходит оттого, что женщины осознают, с кем беседуют — это же знаменитый художник Виталий Волович! Ему, знаете ли, даже памятник стоит в городе, недалеко от проспекта Ленина.

— Не памятник, скульптура, — поправляет художник, смеясь. — И не только мне.

Их там трое — Михаил Брусиловский, Виталий Волович, Герман Метелёв. Скульптурная группа «Горожане». Рост статуи Воловича — 2,4 метра (Мельпомена — выше), вид суровый, но справедливый, как у сказочного волшебника.

Изобразительное искусство одержало победу над музыкой — к счастью, мы любим не только то, над чем работаем, к несчастью, работаем не только над тем, что любим.

Сразу после войны Волович преподавал в том же училище, где совсем недавно учился, и, уходя с занятий, спускался в филармонический зал — громко пел арии для единственного своего слушателя, терпеливого друга, художника (и тоже прогульщика) Лёши Казанцева.

Теперь после маминой смерти он жил один, до женитьбы на Томке следить за его питанием было некому — Волович приходил в училище к началу вечерних занятий, покупал восемнадцать пирожков с повидлом и съедал их, запивая водой из графина.

В семидесятых в Свердловске выступал Александр Ведерников — знаменитый московский бас из Большого театра, — пел Мельника в «Русалке». Кто-то познакомил его с Воловичем, и они вдвоём заглянули в Союз художников.

Волович обратился к местной сотруднице, молоденькой, не знавшей его, — и она восхищённо вымолвила:

— Ой, вы, наверное, поёте! Этот-то, — она небрежно махнула рукой в сторону лучшего баса страны, тоже что-то сказавшего по случаю, — видно, что простой человек, а у вас такой голос! Опера, да?

Ведерников впоследствии клялся, что это был приятнейший момент в его жизни!

4

Ян Вутирас не учил детей греческому языку, но передал им свою мечту о Родине вместе с кровью. Когда границы открыли, Елена, дочь Вутираса, уехала в Грецию — и забрала с собой его малень-

кую внучку Ольгу. Прославленный баритон не успел увидеть девочку — он умер незадолго до её появления на свет, в возрасте шестидесяти одного года. Похоронили Вутираса на Ширококореченском кладбище — какая же холодная земля в этом Свердловске...

А Виталий Волович стал знаменитым художником-графиком. И если архитектура — это застывшая музыка, то графика Воловича — это опера, которая звучит во всю мощь. «Турнир» — два голоса, которые спорят друг с другом, но складываются при этом в гармоничный дуэт. «Пустой панцирь учит ангелов петь» — белокрылые ангелы стоят перед пустотелым монстром навтыяжку: эта работа появилась после одного из бесчисленных партийных собраний, где художникам ставили задачи. У Воловича всё звучит, поёт, вибрирует, иззубренные рыцарские мечи превращаются в виолончельные смычки, а кресты — в дирижёрские палочки. Шут поёт в терцию с распятым Христом, и полые рясы проходят по листу, как артисты миманса по сцене. Пальцы Изольды и Тристана соприкасаются, точно звуки в хроматической гамме. Арфа, лютия, флейта, песни миннезингеров и трубадуров, высокие ноты и высокие чувства... Клянусь честью, сударыня, *этот голос* не убьёт даже самая злокачественная ангина. Напротив, он будет крепнуть с каждым годом, и даже сам художник однажды

поверит с миллионом оговорок, — кажется, вроде бы, возможно, — что у него действительно получается. Хотя он не особенно верит похвалам и ценит мнение немногих.

У него есть друзья, и любимая Томка стала его женой, и родилась дочь Леночка, и вот уже появились внуки — птица не успела махнуть крылом, Мельпомена всё так же тянет кверху свой фонарь, мальчик стал вначале мужчиной и мужем, а после — дедом и прадедом. Он иллюстрирует «Отелло», «Тристана и Изольду», «Ричарда III», он пишет с натуры старый Екатеринбург — первым стал изображать его слегка расфокусированным, искажённым, домики внаклон; потом эту манеру подхватили другие художники. Рисует Ригу, Париж, Бухару, Иерусалим... Работает над офортами, что означает вечную занятость, грязные руки и острую, как терновый венец, головную боль.

Томка, рассердившись, сказала однажды:

— Я — жертва офорта!

Он работает каждый день без выходных и перерывов — даже если это его день рождения или всенародный праздник. Выставки, альбомы, Золотая медаль Академии художеств, работы хранятся в Третьяковке, Русском, Пушкинском, их покупают для частных коллекций.

Первой проданной работой Воловича стал юношеский этюд оперного театра — фасад, вечер-

ние огни, чёрно-белая юность... Известный уральский художник Иван Кириллович Слюсарёв остро взглянул на ту работу и сказал:

— Я хотел бы купить эту вещь!

5

Театру — сто четыре года, городу — двести девяносто три, а мальчику... Неважно, сколько ему лет и что мальчиком его уже теперь никто не называет. Важно, что он идёт в свою мастерскую мимо оперного театра, где поёт сегодня Ольга Вутирас, вернувшаяся на Урал из Греции. Колоратурное сопрано, Царица ночи, Мюзетта, Джильда...

Мельпомена изо всех сил тянет руку с фонарем повыше к звёздам и тихо, неслышно смеётся.

Никто не умеет рифмовать лучше, чем жизнь, — даже искусство.

Клянусь честью!



ИМЯ НА КАМНЕ

- 1 Ксения Михайловна Лёвшина — жена одного профессора Матвеева и мать второго
- 2, 5 Константин Константинович Матвеев — минералог, знавший о камнях больше, чем о людях
- 3, 4 Александр Константинович Матвеев (на 5 фото он второй справа) — толкователь имён и названий

Имена в этой семье чередовались, как шахматные клетки, — бабушка Юлия и внучка Юлия, дед Константин и внук Константин. Пришлые, неродовые имена приживались трудно, семейные росли спокойно и без суеты, и даже если некоторые — Михаил и Мария — считались несчастливými, их всё равно вручали детям как племенную отметину. Матвеевы — старинный уральский род с корнями из железа и камня, с вековым запасом жизненлюбия и одержимости собственным делом. Фамилия простая, никаких вам «шестых столбовых книг». Семейное древо держал на своих крепких плечах некий Матвей, рабочий Екатеринбургского монетного двора.

Мытарь Матфей на холсте Караваджо робко показывает на себя пальцем: неужто меня зовёшь? Константин Константинович, потомок Матвеев, не имел сомнений в том, что судьба

и удача обращаются к нему напрямую — так и должно быть. Учёный-минералог, исследователь земных недр лицом был похож на Троцкого, Чехова и Свердлова — выбирайте, кто вам ближе. Младший сын профессора — Александр Константинович, а пока ещё просто Саша, Санчик, родился в 1926 году. Во дворе дома на улице Народной Воли его дразнили *Фафа злой*. Не все звуки выговаривал, потому и Фафа, а не Саша. Характер имел решительный, кулаки держал наготове, потому и злой. Имя Александр в семье тоже не чужое, но этот листок вырос на материнской ветви дерева — так звали отца Ксении Михайловны Лёвшиной, невенчаной жены профессора Матвеева и матери восьмерых его детей. Тот Александр (давно уже *tot*) проживал в Швейцарии, имел виллу на берегу Женевского озера и писал стихи по-немецки готическим шрифтом. Тёплое слово *дедушка* к нему не пристёгивалось.

Александр означает «защитник», Константин — «постоянный». Александр Матвеев, посвятивший себя изучению имён собственных, в их магию не верил, но защитником, безусловно, был. Защитником своих детей, своего дела, а главное — русского слова. Его отец Константин Константинович (дважды постоянный) ни разу не изменил своей науке — минералогии.

Для кого-то камни холодны и скучны, а кто-то считает их живыми да ещё и способными влиять

на судьбу. Горный хрусталь сделает вас ясновидящим, змеевик предупредит об опасности, а попутно снимет головную боль. Родонит вселяет радость и пробуждает таланты, малахит изгоняет меланхолию, селенит отвечает за искусство убеждения, ораторский дар. Константин Константинович любил селенит — минерал с матовым блеском и солнечным зайчиком внутри. Лунный камень тёплого цвета, приятный на ощупь и противопоказанный людям капризным, замкнутым, одержимым несбыточными мечтами. Все мы любим то, что нам противопоказано.

Константин Константинович родился 5 марта 1875 года в уездном уральском городе Камышлове. «Камышовый» по-башкирски — *камьшлы*. Мать Константина Константиновича сдала экзамен на сельскую учительницу, отец, Константин Никанорович, был коллежским регистратором, дослужился лишь до чиновника 14-го класса. В школе он занимался усердно, и в 1859 году его даже направили в Петербургский технологический институт как стипендиата горного ведомства. Жаль, что завершить обучение не удалось — он по собственному прошению был уволен из числа стипендиатов по состоянию здоровья. Работал на заводах, приисках, служил в Верхотурском приходском училище, впоследствии был удостоен звания учителя арифметики и геометрии

в уездных училищах. У Марии Степановны и Константина Никаноровича было трое детей — Мария, Владимир и Константин. Имена, как заклатья, повторялись через поколение, но порою спешили вне очереди.

Александр не мог вообразить своего отца ребёнком — а кто смог бы? Суровый человек в мундире, лохматый, бородатый, пенсне сидит на переносице, как птица на жёрдочке. К младшим детям — Александру и Ксении — отец внимания не проявляет, со старшими — Андреем, Юлией, Михаилом — тоже всё не слишком ладится. Минералы для него интереснее людей, во всяком случае, в них больше загадок. Люди предсказуемы, несправедливы, могут стать помехой на пути к научным открытиям: лежат как камни на дороге! И всё-таки даже он был когда-то ребёнком, этот строгий старик, годившийся Саше скорее в деды, чем в отцы. Ребёнком, похожим на школьных друзей-соперников, тех, что выучивают все домашние задания и пишут изумительно разборчивым почерком.

Константин Константинович был безупречным учеником — окончил курс в Тарасковском начальном училище, в августе 1888 года держал экзамены в четырёхклассном Екатеринбургском. Знания по всем предметам и поведение оценены на «отлично», но летом отличнику приходится

подрабатывать на золотых приисках: семье нужны деньги. Константин Матвеев переезжает в Оренбург (маленький Саша с лёгкостью находит этот город на карте Урала: с детства хорошо разбирал географические карты, география была его любимым предметом в школе, учитель по прозвищу Морж гордился своим учеником). В Оренбургском учительском институте старший Матвеев обучается за казённый счёт, ему уже двадцать, и он должен повторить судьбу своего отца. Вместе с именем Константину Константиновичу достаётся путь, который кажется неотменимым и, более того, единственным. От брошенного камня расколятся круги по воде, имя тянет за собой судьбу.

Константин Константинович впрягается в лямку: преподаёт в училище Мотовилихинского завода в Перми, быстро становится заведующим и старшим преподавателем, мужем Клавдии Филипповны и отцом девочки Веры, мальчика Льва, а затем и мальчика Глеба. Судьба катит по привычному маршруту, не обращая внимания на повороты; но учительская лямка натирает душу, особенно в области честолюбия. Чтобы сбросить её, придётся стать учителем самому себе — пройти гимназический курс: латынь, греческий, немецкий. Спасибо естественной склонности к естественным наукам — они даются ему легче языков. Предстоит сдать экзамен на аттестат зрелости. Дети растут, год идёт по кругу и, как уроборос,

кусает собственный хвост. Весной вдоль дорог розовеют нагие берёзки, в лужах стоит синяя апрельская вода. Константин Константинович успешно держит экзамен и теперь, по закону, имеет право поступать в любой университет России. Выбрал столичный, но Санкт-Петербург отказал двадцатипятилетнему абитуриенту по причине политической неблагонадёжности. Всего-то выступил в одном из революционных кружков с докладом о книжке Плеханова... Эта «неблагонадёжность» в будущем сослужит старшему Матвееву хорошую службу. Его не будут преследовать по сословному признаку, простят женитьбу на дворянке.

На пороге топчется страшный век, такой ещё молодой и чистый, что даже в мыслях нет предъявлять ему претензии. Константин Константинович зачислен студентом естественного отделения физико-математического отделения Киевского университета. Семья, конечно, в Перми. Семья всегда «в Перми», то есть отдельно, в стороне, вроде бы она есть, а вроде бы — нет. В конце концов, что важнее — жена с детьми или серьёзная научная карьера? Для Константина Константиновича ответ однозначен, а если кто из вас без греха, пусть первым бросит камень... Какой это, кстати, будет камень? Не исключено, Екклесиастов, из тех, что нужно то бросать, то собирать...

Уклонился от семейных объятий — его ждёт наука. Через год учёбы в Киеве Матвеев добывает-

ся перевода в Санкт-Петербург, где он встретит и своё призвание, и главного в своей жизни человека — юную Ксеничку Лёвшину. Долговязый (почти два метра ростом) студент снимает комнату в доме на Мещанской у Юлии Александровны Лёвшиной, вдовы действительного статского советника. Её младшая дочь Ксения — вчерашняя гимназистка, некрасивая, но миленькая, свежая, к тому же породистая, из дворян: осанка, взгляд, манеры. Немного похожа на невесту Самсона с известной картины Рембрандта. Далеко от улицы Мещанской растут девочка Вера, мальчики Лев и Длеб. Клавдия Филипповна верит в своего мужа — его учёба в Петербурге обеспечит семье процветание.

А для номинального мужа важно отыскать свой путь, не ошибиться с выбором. Да, Генрих Шлиман уже ребёнком знал, что найдёт Трою, но не каждому так везёт. Наука для Константина Константиновича — сверкающий мир открытий, но что это будут за открытия, он и сам пока что не ведаёт, зато не сомневается в том, что Ксеничка Лёвшина поедет за ним на Урал.

Много лет спустя Александр Константинович окончит Хабаровский педагогический и вернётся в Свердловск, чтобы преподавать латынь и античную литературу студентам университета. В точности как его отец (структура повторяет структуру,

имя подсказывает дорогу), он не сразу найдёт свой путь, твёрдо зная, однако, что дорога эта именно и только в науке. Старший Матвеев, геолог, искал месторождения минералов, младший, филолог, — залежи утраченных слов, осколки языков вымерших народов, а через них и сами эти народы. Отец и сын находили разное в одних и тех же местах. Полезные ископаемые Константина Константиновича и глубинный субстрат русской речи Александра Константиновича имеют общую суть. Тема пришла сама — и постучала в дверь, как судьба в Пятой симфонии.

Летом 1903 года Константин Константинович определил своей специальностью геологию и решил закрепить сей союз путешествием по реке Чусовой: собирал коллекцию образцов битуминозных мергелей необычного строения. Близ села Вереино студент Петербургского университета обнаружил удивительный тёмно-серый известняк структуры *cone-in-cone*. Нелюбители иностранных слов могут воспользоваться отечественным «фунтиковая текстура» или «конус в конусе», но будущий профессор предпочитал французский термин: помимо прочего здесь есть игра слов: *Кон-ин-Кон* — *Константин Константинович*, краткая версия. Минерал походил сразу и на коралл, и на окаменевшее дерево, и на ониксовый мрамор, и на стилилит... Природа *cone-in-cone* всё ещё не разгадана,

хотя задачу эту пытались решить лучшие геологи мира.

Они не разгадали, но я справлюсь, полагает Константин Константинович и берёт с собой несколько образцов чувовского известняка. Берёт он их с собой на всю жизнь: в этих неведомых структурах — его будущие диссертации, научное имя, мундир и успех. А в 1950-е годы молодой преподаватель кафедры классической филологии Александр Матвеев последовательно откажется от четырёх предложенных ему диссертационных тем — внутренний компас учёного подтверждает, что эти направления неверные. Он найдёт свою тему сам.

Александр Матвеев всегда ощущал себя человеком леса, природы. Его с детских лет приучил к лесным походам старший брат Андрей — геолог, погибший в «Польском коридоре» за два месяца до мая 1945 года. Именно к Андрею в Хабаровск уехала перед войной давно уже не юная Ксения Михайловна Лёвшина с младшей дочерью Ксеничкой — у Константина Константиновича была к тому времени новая семья.

На Урале суровые пейзажи, рисовать которые следует в тёмных тонах. За деревьями здесь не видно не то что леса — вообще ничего не видно, кроме самих деревьев. Скалы взбираются высоко к небу, а там, наверху, вновь растут деревья. Они

растут всюду, в том числе на камнях. Музыкальное сопровождение — хруст веток под ногами, оркестры комаров и слепней. Жаркий запах болота и камыши, такие красивые, что не удержишься, нарежешь домой букет: длинные стебли, узкие шоколадные валики... Мама будет благодарить, а соседка разахаетса: «Вы что же, Ксень-Михална, примет не знаете? Камыш в дому держать нельзя — к беде!»

Но разве можно выбросить подарок сына? К тому же приметам Ксения Михайловна не верит, а бед ей довелось пережить столько, что никакой камыш не страшен... Дочь Маша умерла младенцем из-за недогляда няньки. В страшном 1919 году, когда Колчак уходил из Екатеринбурга, у Матвеевых погибли от испанки двое сыновей — первенец Костя одиннадцати лет и годовалый Алёша. Похоронены в одном гробу. Притихшие от беды уцелевшие дети тихонько обсуждали между собой, а потом спросили: «Кого тебе, мама, сильнее жалко, наверное, Алёшу? Он такой маленький, кудрявый, хорошенький...» Они не поняли бы — и никто не понял бы, что значила для неё потеря Кости, любимого, ласкового, первого... Всю свою жизнь Ксения Михайловна будет носить в себе эту беду, с годами она превратится в твёрдый комок, камень, который не даёт по-настоящему радоваться удачам и огорчаться невздам. Бедность, беспомощность, голод, неизле-

чимая болезнь сына Михаила, предательство мужа — верного рыцаря одной только науки... С Колчаком ушёл из Екатеринбурга Длеб Матвеев — его вместе с братом Львом Ксения Михайловна растила как собственных детей (Клавдия Филипповна решила, что отцу с новой женой будет сподручнее воспитывать мальчиков). Длеб лежит с шестью пулями в груди где-то в Сибири — тот серьёзный мальчик, которого она учила французскому и арифметике...

Так что пусть банка с камышами стоит себе на крышке пианино — разве может быть хуже? Только если война, но кто думает о войне в самом начале 30-х годов? Какая-то глупость, право слово.

Лесные походы с братом Андреем, прогулки с мамой по Уктусу и Шарташу (тюркское *таш* означает «камень»), уроки географии в пятой средней школе, когда Морж будто бы усаживал школьников на свою широкую ладонь и переносил в далёкие времена белых пятен, смелых мореплавателей и бесстрашных первопроходцев... Александр чувствовал, что его дорога в науке пройдёт между историей и географией, но будет связана с языком, филологией. Трём разным дисциплинам — истории, географии, филологии — предстояло объединиться в одну — чтобы он мог совершать свои открытия, путешествуя вверх по реке забвения. Так будет называться одна из его книг — «Вверх по реке

забвения», но до этой книги нужно пройти тысячи километров по Русскому Северу, отморозить ноги на Северном Урале, кочевать с манси-оленеводами и стать для них легендой (манси называли его *ку-сяй-ойка* — «большой начальник»).

Как и отец, он искал открытий на глубине. Слово чужого языка, оставленное на взятой территории, подобно ценному кладу, который, прежде чем рассмотреть, нужно разыскать. «Финно-угорские заимствования в говорах Северного Урала» — тема кандидатской диссертации Александра Матвеева. В детстве его любимой книгой была «Борьба за огонь» Рони-старшего, и сам он всю жизнь оставался отважным воином Нао, что пытается найти свой «огонь» — исчезнувшие народы, оставившие в память о себе пригоршню слов, почти растворившихся в русской языковой среде.

Собирать материал поехал в одиночку на Пелым и Вагиль, в Гаринский район Свердловской области, в места мансийских кочёвок. Манси, кстати, находятся в близком языковом родстве с венграми. Оленеводы-кочевники — и вполне себе европейский этнос. Кажется невероятным, что протовенгры жили на Урале до того, как обрели дунайскую родину в конце IX века, но доказательства этого есть: слова, слова, слова... Бесценный невесомый груз.

Потом, уже с группой, работал в верховьях Печоры, на Тавде, Вишере, Колве. Трудности путешествий его не пугали. Чтобы попасть в Дий, прибежище русских старообрядцев на западных отрогах Уральского хребта, отрезанное от внешнего мира лесами, реками и болотами, он заряжает поход с восточной стороны Уральских гор, из Ивделя. И ведь прошли через весь хребет с востока на запад! Две недели с рюкзаками по тайге, с компасом и картой. И добрались до реки Колвы, до разговоров со старообрядцами, до диалектных слов и народных песен. С теми же мыслями: успеть сохранить, записать. Чтобы помнили. И чтобы найти аргументы.

Больше всего аргументов несли в себе географические названия: имена рек и озёр, гор и лесов, деревень и полей. Манил к себе европейский Север России, где русский растворил в себе не один язык коренных племён. Легендарные чудь, весь, меря и другие народы ушли не бесследно. Реликты древних языков — как золотые песчинки в лотке рудознатца. Александр Матвеев создаёт топонимическую экспедицию, которая без усталы промывает словесную руду. Отряды Севернорусской топонимической экспедиции сканируют десятки и сотни районов в Архангельской, Вологодской, Кировской, Костромской областях. Десятки, сотни, наконец, миллионы единиц в Топонимической картотеке Уральского университета. Из

этих слов, собранных «в поле», впоследствии вырастут диссертации, книги и судьбы. По этим именам — как по камням через болото — Матвеев-младший и его ученики переходили в древнюю историю заселения Русского Севера — во времена мифологические.

Константин Константинович, профессор Свердловского горного института, любил поднять каменный образец на ладони и тщательно рассмотреть его. Александр Константинович так же тщательно рассматривал словесные образцы. История иного слова так богата, так много открывает уму. Он группирует названия древнего происхождения (субстрат), наносит их на карту, вычерчивает ареалы распространения. И карта начинает рассказывать о доисторических временах.

Матвеевы работают всегда. И всегда им мало сделанного, всегда надо бы добавить. Константин Константинович собирает камни. Верх-Исетский гранитный массив, область реки Чусовой, изумрудные, асбестовые копи и месторождения платины в районах реки Косьвы и горы Соловьёвой, самоцветные копи Мурзинки, колчеданные месторождения (Калата, Белоречка, Карпушиха и др.), платиноносные россыпи на реке Ис. Везде где можно собирает минералы для Уральского геологического музея, любимого своего детища, с огромным трудом переправляет их в город. Александр Константинович собирает слова. Рус-

ский Север не отменял Урала. Река Большая Хозья, междуречье Вижая и Печоры, хребет Яныг-Квот-Нёр, Ауспия, Осьлейпанг-Пауль и т.д. Кочевые стойбища манси, общение на мансийском языке пополам с русским, снег в августе... Материалы пополняют университетскую картотеку, с их помощью позже правят неверные надписи на географических картах. Из любопытства добавил ещё и Саяны, поехали туда, где побывали могучие исследователи-одиночки прошлого А. Кастрен и К. Доннер. Они записывали исчезающий редкий язык — камасинский, жив ли он в 60-е годы XX века? В общем-то да, вымер, но последнюю из калмажей, помнившую «таёжный» камасинский язык — Клавдию Захаровну Анджигатову, — экспедиция всё же нашла.

Тот, кто живёт в одном и том же городе всю свою жизнь, знает, как любит судьба играть адресами. Не меньше, чем именами! Неожиданно человеку выпадают одни и те же районы, улицы, дома — как номера в лото. Будто бы тебя крепко держат те самые родовые корни, которые рисует ученик, если в школе задали составить генеалогическое древо. Древо как древо — в основе два имени, прапрапрадед и столько же раз бабушка, а выше торчат во все стороны ветви, на которых висят плоды: дети, внуки, правнуки, праправнуки. Они глядят камни, как знакомых собак — по макушке

и холке, поразительно легко осваивают немецкий язык, понимают лес и расчерчивают каждый свой день на четыре части: дела рабочие, домашние, ответить на письма, пройти как минимум пять километров.

Настоящие корни, конечно же, не на бумаге — они, как полезные ископаемые, прячутся под землёй и управляют потомками, как фигурками из настольного магнитного хоккея.

В 1921 году профессор Уральского горного института Константин Константинович Матвеев затевает важнейшее дело — ему хочется открыть при институте Минералогический музей и лабораторию. Поборник уральского камня, он не только сам собирает экспонаты, но и приобретает коллекции для будущего музея — любимейшего из всех своих детей. К середине 1920-х музей открыт — в здании Уральского геологического треста на углу улиц Куйбышева и Хохрякова. Если сегодня пройти отсюда один квартал к Зелёной Роще (в не столь уж давние времена здесь было монастырское кладбище, на могилах росла земляника), справа появится красный кирпичный дом № 25 по улице Народной Воли (всё в те же не столь давние времена известной как улица Народной Вони — говорят, здесь проходил маршрут ассенизаторов). Адреса — вот корни уроженцев здешних мест. Семья профессора Матвеева в 1930-е годы жила по адресу: улица Народной

Воли, 26, кв. 3. Спустя многие годы его родная внучка переедет в кирпичный дом № 25 по той же улице в квартиру № 2. Плюс-минус одна цифра. Плюс-минус одно-два поколения. Горный институт — в соседнем квартале, в Зелёной Роще студенты бегают при хорошей погоде физкультурные кроссы...

В музее, известном теперь под именем «Уральский геологический», есть портреты многих современных исследователей, учёных, геологов и минералогов, но упоминаний о Константине Константиновиче Матвееве не в избытке. Ему подобно небрежение, конечно, не понравилось бы. Столько сил отдано музею, столько средств — многие экспонаты он приобретал на собственные деньги, при том что щедрым не был, да и не мог быть после усвоенной в детстве привычки к экономии, той патологической бережливости, которая позволила выжить. Именно музей стал главным делом, даже не кон-ин-кон, загадку которых Матвеев-старший изучал всю свою жизнь — в Свердловске и Петербурге, а до того — в Берлине, Лейпциге, Гейдельберге, Геттингене, Париже.

В 1929–1930 годах Константин Константинович отправился в десятимесячную европейскую командировку. Гейдельберг (тесть Александр Долматов сказал бы Хайдельберг), розовый замок среди зелёных деревьев, аккуратнейший мост через Неккар, измерение уродливых кристаллов пири-

та. Геттинген — «Что привезти вам из Германии, милочка?». Ответ: «Учёности плоды: вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный, всегда восторженную речь и кудри чёрные до плеч». В Геттингене профессор Матвеев работает в геохимической лаборатории Гольдшмидта, изучает монациты Борщовочного края, выполняет первую русскую работу по рентгеновскому спектральному анализу. А затем — Париж, начало 30-х. Хемингуэй уезжает в Америку, Пикассо переживает сюрреалистический период и пишет «Акробата», на экраны выходит первый звуковой фильм Рене Клера «Под крышами Парижа». Константин Константинович работает в минералогической лаборатории Национального музея естественной истории, на территории Ботанического сада: принадлежность здания легко определяется благодаря громадному кристаллу мориона у входа. Вот бы и в Свердловске так, мечтает Матвеев-старший: пусть музей начинается ещё на улице, прежде чем посетитель шагнёт через порог!

Музей, музей, музей — Урал богат недрами, у нас можно выставить такие образцы, что не снились и Европе, хотя здесь, в Париже, собрана единственная в мире коллекция гигантских кристаллов... Константин Константинович тоскует по родному музею, как по живому существу, а впрочем, то, что ты создаёшь, живое по определению: строители говорят с домами, конструкторы спо-

рят с машинами... Командировка длительная — он успевает поработать в Спектрологической лаборатории оптического института, по возвращении в Свердловск открывает такую же при Горном институте.

Новой советской стране нужны новые открытия: координаты нефтяных месторождений и залежей драгоценных металлов. Матвеев изучает топазы в Санарке, платину в Исовском районе, ищет золото и радиоактивные руды, титан, алмазы и нефть. Он разрабатывает идею предприятия по обработке цветного камня — Уралкамнекомбината. Меньше чем за год до рождения младшего сына Александра Константин Константинович совершает важное открытие — обнаруживает Гумбейское месторождение вольфрама. Искать — и находить, терять — но не сдаваться.

Матвеевский склад характера не замыкал учёного в рамках собственного кабинета. Взять на себя ответственность за людей и общее дело — вот это по ним.

Весной 1919 года здание Горного института отдаётся для постоа колчаковцев, а в июле всё руководство института с делами, архивами и частью имущества эвакуируется вместе с отступающими белыми войсками: институт намечено перевести во Владивосток. Пятнадцатого июля 1919 года в Екатеринбург с боями входят части Красной армии. К.К. Матвеев, глава многодетной

семьи, остаётся в Екатеринбурге. Чтобы *сохранить имущество*, прежде всего — минералогические коллекции. Не мог же он бросить на произвол судьбы свой будущий музей! Их, институтских преподавателей, осталось в городе всего около десятка, но они взяли в свои руки судьбу вуза. Семнадцатого июля 1919 года на заседании под председательством К.К. Матвеева постановили: «1. ... Уральский горный институт остаётся и действует в Екатеринбурге. 2. ... совещание находит необходимым открыть институт и всем приступить к исполнению своих обязанностей». После ухода белых с 20 июля по ноябрь 1919 года К.К. Матвеев работает в должности ректора Горного института. К началу учебного года занятия проводить негде. В городе эпидемия тифа, с фронта поступают раненые, помещения отданы под лазареты. Тем не менее приём объявлен, 1 ноября начинаются занятия. В штате УГИ числится 25 человек, из них 5 профессоров (вернее, исполняющих должность профессора). Потом был принят новый Устав Уральского горного, К.К. Матвеев сложил свои временные ректорские полномочия и был назначен деканом геологоразведочного факультета. Совет выразил ему признательность за то, что благодаря его деятельности институт не распался.

А.К. Матвеева жизнь в подобные обстоятельства не ставила. У него была своя борьба. Задум

манное им научное дело в одиночку сделать невозможно, он понимал это с самого начала. И растил коллектив, сбивал и сплачивал студентов в научное сообщество, жаждущее путешествий (не только в буквальном смысле) и открытий (как в науке, так и в собственной судьбе). Он вырастил экспедицию, выпестовал её, руководил ею как учёный, как педагог и как хозяйственник тоже (закупка рюкзаков, спальных мешков и моторных лодок — это без него не делалось, и, разработав маршрут, поставив научную задачу, он никогда не забывал проверить, взял ли с собой бидончик топлёного масла и спички в непромокаемой упаковке). Когда экспедиция окрепла, он бился за открытие лаборатории — и добился. Всё это: лингвистическую экспедицию, лабораторию, журнал — утверждал простым и трудным способом: работой на общественных началах. И экспедиция, и лаборатория учреждались как подразделения университета, когда они уже существовали и успешно работали. Сейчас экспедиции уже больше полувека, и 77 личных матвеевских выездов «в поле» — уже не такая большая цифра на общем фоне.

Крепкая, как всем казалось, семья близка к распаду, дети взрослеют раньше срока... На Сашу жалуются в школе: он дерётся с мальчишками и прилежание проявляет разве что к истории

с географией. Единокровная старшая сестра Вера уже под старость получила письмо из Свердловска — оказывается, тот несносный ребёнок стал профессором, членкором Академии наук. «Ни за что не поверю, — заявила Вера, — он был таким хулиганом!»

Перед самой войной Константин Константинович уходит из семьи — у него новая молодая жена и прежняя страсть к науке. Ксения Михайловна уезжает на Дальний Восток: *лишь бы прочь, а куда — всё равно*. Здесь и люди совсем другие, и природа ничем не напоминает уральскую. Хабаровск, мон Амур... У цветов иные имена, скалы — как причудливые храмы. Саша не сразу едет вслед за матерью и младшей сестрой — вначале остаётся в Свердловске, как будто бы под присмотром отца, но вскоре понимает, что не нужен Константину Константиновичу и даже не интересен ему. А тут и призыв в армию.

Беды, страдания, разочарования, обиды... Не только за себя самого. И сердце человека каменеет, как древнее дерево, которое не отличишь от скалы, не даёт сочувствовать, жалеть, любить, как раньше. Александр так и не сможет простить своего отца. За него это сделает сын Константин.

Константин Александрович Матвеев родился в 1969 году, когда деда-профессора не было на свете уже пятнадцать лет. Трудяга, коммерсант, фер-

мер, в 90-е годы он поставил новый памятник на запущенной могиле деда — змеевик, бронзовые буквы, узнаваемый пристальный взгляд старика в форменном мундире. Справа от Всехсвятского храма на Михайловском кладбище стоит тот строгий чёрно-зелёный камень.

Константин — в этой семье несчастливое имя. Константин Александрович Матвеев не дожил и до сорока лет. Похоронен рядом со своим отцом Александром Константиновичем на Широ-кореченском кладбище. Розовый гранит у Кости, чёрный габбро — у Александра. Камни, камни, камни...

Время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий...

Древнее племя, нападавшее на соседей, убивало мужчин и забирало женщин, но главным считалось забросать камнями плодородные поля. Чтобы выжившие после боя не смогли распахать их: ведь тот, кто уцелел, обязательно соберёт эти камни, и жизнь возродится.

Молодой студент на берегу реки Чусовой застывает над каменной загадкой. Начинаящий исследователь вслушивается в неизвестное слово — оно проложит дорогу к забытым народам. Только наука держит на плаву, только работа даёт волю к жизни... А ещё хорошо бы успеть воспитать сына, который сможет собирать камни и ставить

памятники, бить рябчика влёт и не ждать благодарности за добрые дела.

В конце концов, от всех нас остаются одни лишь имена. Названия.

И разумеется, камни.



ПАРТИЯ В ПОДДАВКИ

- 1, 4 *Георгий Жуков и Павел Бажов. Маршал победы в гостях у сказки.*
- 2 *Сергей Михалков и Павел Бажов*
- 3 *Павел Бажов — главный уральский сказочник*

В дверь постучали, и Ральф залаял от всей своей собачьей души. Гость стоял на пороге, румяный то ли от мороза, то ли от смущения.

— А я тут ехал мимо, увидел свет в окнах...

— Вот и правильно, что зашли! У нас пельмени сегодня, так что это вы очень, очень хорошо придумали. Не забудьте ступеньку-то, осторожнее.

Порог в доме приподнят, чтобы тепло не утекало.

Когда люди знакомы не близко, первые минуты разговора тянутся медленно до мучительности. Слова кладутся на пробу, то там, то сям виснут паузы, будто у юного музыканта, не способного выложить из отдельных звуков цельную мелодию. Но в этом доме, где гость бывал доселе лишь однажды, говорить хотелось сразу, чуть ли не в прихожей, где вилял хвостом Ральф.

— Дом у вас замечательный, — искренне похвалил гость, проходя в столовую, где женщины возились с самоваром.

Он ещё в тот, первый раз поймал себя на том, что захотел бы вернуться сюда, даже будь здесь другой хозяин. Лёгко тут было, и чувствовалось по всему, что дом этот — любимый, что заботятся о нём, как о человеке. Светлый, тёплый, на подоконниках цветы, повсюду книги. На стене висит гитара, как картина, — с прошлого раза гость помнил, что играет на гитаре хозяйка.

— А на пианино кто у вас? — спросил, покашливая. Красивый чёрный инструмент ленинградской фабрики «Красный Октябрь» стоял в столовой гордым кораблём.

— Внуку, Никитке, купили, — отозвалась хозяйка, справившись наконец с капризником-самоваром. — Но не желает играть, вот и стоит теперь как для мебели.

— Не слышали, как в деревнях пианино ребяташкам покупали? — оживился хозяин, поглаживая бороду. Радость от припомненной истории загля в глаза живой огонёк. — «Комодом с зубами» называли!

Гость провёл рукой по клавишам — ровные, белые, они и вправду походили на зубы. А если уложить крышку неправильно, инструмент оскалится и станет похожим на зверя.

— У вас сегодня никого, — заметил гость, усаживаясь за стол. — А в тот-то раз как на гулянье собралось! Думал, и сегодня так будет.

— Мороз отпугнул, видать. — Хозяин, достал из буфета две рюмки. Графинчик с водкой уже был на столе, от блюда с пельменями шёлверху ароматный вьющийся пар. — Я верно помню, что вы чистый напиток предпочитаете?

— Как и вы. Крашеный алкоголь не терплю.

Мужчины выпили по рюмке, с удовольствием принялись за пельмени. Хозяин шепнул жене:

— Валянушка, сметану позабыла.

Гость с наслаждением смотрел на то, как в этой чужой ему — но такой необъяснимо родной — семье угождают друг другу без лишних слов, а всей душой. Когда разлили чай и подвинули к нему поближе вазочку с вареньем из яблок, в соседней комнате хлопнуло окно.

— Вот и котейка явился, — сказал хозяин, и точно: в комнату решительно вбежал серый кот, хвост трубой, и замявкал, крутясь у стула Валентины. — Ему морозы не страшны, да он и вообще никого у нас не боится, верно, серенький?

За столом говорили не много, домашние слегка робели гостя — трудно забыть, кого они принимают в своём доме запросто, как если это самый обычный человек. Конечно, бывали у них разные известные люди — Евгений Пермяк, Агния Барто, вон на том сундучке спал как-то раз

поэт Алексей Сурков, но тут не просто известный человек, а целая легенда... Дом как будто бы меньше стал от его присутствия, хотя ростом гость не так и велик — могучный, но невысокий. Валентина и её сестра Наталья старались не разглядывать его пристально, но иногда терпезу не хватало: взгляды падали, как вилки из рук. Только Никитка, согласно возрасту, вёл себя естественно — и когда гостю достался счастливый пельмешек с начинкой из прогоревшего древесного уголька, захолопал в ладоши от радости (сам и вкладывал начинку в тесто).

Чай хозяин пил из стакана с латунным подстаканником, а ложку не вынимал — придерживал большим пальцем. Сахар в крупных кусках лежал рядом с щипцами для колки — колоть, сразу стало ясно, было заботой хозяина. Гость положил в свой стакан два кусочка сахара, и тут Никитка зевнул во весь рот — пора было укладывать мальчика.

— Ещё минутку, дедушка, — просил мальчик, а глаза слипались, и голова клонилась набок. Кот, напившись молока, давно спал, свернувшись клубком близ печи, рядом похрапывал Ральф.

Гость никуда не торопился, да и хозяин не хотел его отпускать. Перешли в кабинет, где на рабочем столе, заваленном книгами, темнела пишмашинка.

— Скучаете по Москве? — спросил хозяин, раскуривая трубочку. И, не дожидаясь ответа, как

бы испугавшись, что ранит этого большого, сильного человека за живое, заговорил поспешно: — Я-то, уж извините, Москвы не люблю — она милее всего, когда в окно на неё гляжу, из поезда. Когда еду домой, на Урал. А что родные ваши места, давно вы там бывали?

Родина гостя — деревня Стрелковка Калужской губернии. Любой советский человек знал наизусть каждую страничку его биографии. Но названия, цифры, газетные передовицы — это одно, а живое впечатление — совсем другое. Узелок, который завязывается при первой встрече, может остаться всего лишь узелком — а может вытянуться в крепкую нить, связующую людей на многие годы.

Полгода назад, в мае, хозяин дома и его гость стояли вместе на трибуне площади 1905 года — шёл парад Победы. Хозяин присматривался к гостю, которого только-только перевели сюда из Одессы. Уральцы не болтливы, сплетен чураются, но даже самый сдержанный свердловчанин не мог удержаться от разговоров — как, почему, надолго ли? Сказывали, что гость выезжает каждое утро верхом на коне из Зелёной Рощи, а позади едут водитель с денщиком на блестящей машине. Судачили, что в Москву ему никогда не вернуться, и потом кто-нибудь обязательно итожил беседу решительным:

— А всё одно, без его б не управились!

На той трибуне пролез к хозяину и гостю шустрый мужичонка — глаз налитой, нос в марганцевых прожилках, от усов — квашёный дух. Тянет руку гостю:

— Я имею честь представиться, тот самый Ермаков, что царя казнил!

Гость отвернулся так резко, что ордена на груди звякнули:

— Палачу руки не подаю!

Вскоре в Свердловске назовут именем цареубийцы Ермакова улицу. Другую — в честь хозяйина, а третью — в честь гостя. Но пока живые люди, наблюдавшие с трибуны парад Победы, не превратились в памятники, бюсты и географические названия, им есть о чём поговорить за рюмочкой и трубкой.

— С тридцать шестого не курю, — сказал гость, с завистью глядя на дымящуюся трубку хозяина. — Врачи запретили.

— И мне запретили, — отозвался собеседник, — да вот такой силы воли, как у вас, не досталось. Несколько месяцев только и продержался.

— Книгу, что вы мне в тот раз дарили, — перевёл разговор гость, — в несколько ночей изучил. Светлые у вас истории, читаешь — и на душе проясняется!

— Ночами читаете? — рассмеялся хозяин. — А я, не поверите, пишу в тёмное время. День на заботы расходуется, не успеешь присесть, как стем-

нает. Мои утомонятся, в доме тишина — вот тогда самая и работа. Когда котейка с прогулки вернётся — спать ложусь. Это сегодня он рано явился, озяб, а так он у нас зверь ночной.

— И что, целый рассказ за ночь пишете?

Хозяин положил на стол погасшую трубку.

Работал он очень медленно — на небольшую историю уходило до полугода, потому что отдывать её приходилось тщательно, а слово, как драгоценный камень, торопыг не жалует. Иногда лишь несколько фраз выходило из-под камышового, своими руками сделанного пёрышка, а ночь, гляди, уже прошла, серый кот видит во сне серых мышек, и новый день стоит на пороге, полный хлопот и забот. Школьная тетрадка — он писал только в тетрадях — откладывалась до вечера, но между делами всякий раз возвращался к истории заново, обдумывая поступки и слова своих героев.

В бытность журналистом работал, конечно, быстрее — газета промедлений не терпит. Семь лет заведовал отделом писем — газета была крестьянская, и письма в редакцию приходили со всех уральских деревень. Тонны писем, где рассыпан золотой песок народной речи, где меткие словечки — как ценная руда, где начатки легенд вели переключку с теми сказками, которые он слышал в детстве, на заводе... Жаль было оставлять эти богатства в конвертах, вот он и стал со-

бирать коллекцию — выписывал на карточки, не задумываясь, зачем. А зачем собирают камни, причудливые деревья, раковины? Трудно человеку расстаться с чудом, всяк хочет присвоить хоть немного — пусть радуется в тяжёлую минуту.

Тяжёлых минут, часов и дней ему досталось бесчисленное множество — страшные годы, чёрные календари. Горе от времени легче не становится, разве что привыкаешь носить на себе этот груз. И несёшь его в ночные сочинения, где каждый герой — то сирота, то калека, то битый, то обманутый, но все как один спасаются делом своим, мастерством и призванием. А главное — верой в чудесное.

— Город ваш я не сам выбрал, как вы знаете, — гость вернулся к прежней теме, как возвращаются к камушку, который вначале не показался ценным. — Но служба — она везде служба. А на людей мне всегда везло. Вот вчера в колхоз ездил, на север, так меня там председатель из саней вывалил!

Хозяин удивился:

— За что он вас так?

— Да не нарочно, хотел, понимаешь, прокатить с ветерком! Лежу в снегу и думаю — ну, всё, брат, доездили! Не успел встать, как председателю все вокруг грозить давай — что сместят, из партии исключат! Я ещё снег с тулупа не отряхнул, а его уж почти что казнили.

— Вступились?

— Вступился. Мужик хороший, правильный, и в колхозе дело с умом поставлено. Ну а что гостя в снегу повалял, в том большой беды нет.

За окнами взлаяла чужая собака, но Ральф, поморщившись, отвечать не стал: очень уж спать хотелось.

Живая беседа идёт не по-писаному, байки да анекдоты блестят в ней, как прожилки в камне, а главная тема — словно незыблемая скала.

— Я Свердловск тоже не сам выбрал, — сказал хозяин. — Родился в Сысерти, не бывали ещё в тех местах? Красиво там у нас... А сюда попал, не поверите, из-за Пушкина. Надо мной библиотекарь подшутил — сказал выучить первый том Пушкина наизусть, иначе не даст второй. Я испугался — и выучил. Прослышал об этом врач из Екатеринбурга, правда ли, говорит, что всего Пушкина наизусть можешь? Ну, и забрал меня в город на учение. В духовное училище пристроил — самое дешёвое образование, и на форму тратить не нужно.

— Религиозным были?

— После семинарии стал навсегда атеистом. Я ведь и семинарию окончил, и учительствовал много лет. В партию вступил. Потом война, революция... А не выпить ли нам с вами ещё по рюмочке?

— Можно.

Тихонько, чтобы не будить домашних, перешли в столовую. Гость, пока хозяин искал графинчик, разглядывал столик старинной работы. Поверху — шашечная доска.

— Играете?

— С внуками, иногда. А вы?

— Я больше шахматы люблю. Но могу и в шашки.

Хозяин улыбнулся:

— А давайте-ка в поддавки!

Гость нахмурился:

— Вот этого никогда не понимал. Что в жизни, что в играх главное — победа.

— Про победу вы лучше меня знаете, но поддавки — игра не простая. Предлагаю попробовать.

Выпили, и хозяин умело расставил кругленькие, похожие на конфеты, шашки по чёрным клеткам. Гостю уступил белые, и тот, пожав плечами, сделал первый ход.

— Тут ведь как получается, — сказал хозяин, подставив шашку под удар, — тут самое главное понять, что и поражение может стать победой. Всё как в жизни. И перемениться может в любую секунду. Вот за это я и люблю поддавки. Ну и потом — быстрая игра, весёлая. Большого напряжения не требует. У вас дамка! Сочувствую.

— С вами глаз да глаз! — притворно возмутился гость, довольный, что дал хозяину выиграть.

— Ещё разок?

Снова застучали шашки по столику. Гость изо всех сил старался вновь проиграть, выиграв, но думал о другом. Слова хозяина затронули в его душе что-то важное, давно отставленное и болезненное. Одиночество сильного человека страшнее одиночества слабого, и даже тот, кого не выпускают из толпы, качая на руках, однажды чувствует, что поговорить ему не с кем и довериться — некому. Вот почему он приехал сегодня в этот дом на улице Чапаева. Хозяин не из тех, кто станет перебивать, выпрашивать, льстить. Голос у него тихий, манера говорить — спокойная, уважительная.

— Я ведь тоже начинал с духовного образования, учился в церковно-приходской школе. — сказал гость, подбрасывая в руках выигранную (а на деле — проигранную) белую шашку. — Потом в Москву забрали, к дядьке, в скорняжью мастерскую. А сам мечтал работать в типографии — думал, что там книжки можно будет читать сколько душе угодно. Очень читать любил и сейчас люблю. В церковно-приходской школе, помню, велели каждому прочесть самостоятельно двести книг сверх программы, так я даже смеялся — разве это задание? Сплошное удовольствие.

— Детям, самое главное, хорошие книги читать, — заметил хозяин. — Младшая у меня, помню, сидела с паршивеньким романом, но запрещать здесь — дело бессмысленное. Принёс ей

Ростана, раз уж время пришло для таких тем. На другой день смотрю — читает Ростана. Испортить и книга может, не всякая во благо идёт.

Гость вдруг сгрёб все шашки с доски широким жестом, но тут же, будто придя в себя, снова расставил их по клеткам, как солдатиков.

— Затягивает ваша игра. Вот и в жизни, думаю, играет с нами кто-то. В бога мы не верим, но судьбу как не признать? Меня в 1915-м призвали в армию, простым солдатом. Хотели на офицера учить, но я отказался. В деревне своей видал в то самое время двух прапорщиков, да таких неудачных, нескладных, что стыдно мне стало и за них, и за себя. Думал, как же я, в свои девятнадцать, окончу школу прапорщиков и пойду командовать бывальыми солдатами, бородачами? Как эти вот двое? Совестно мне стало, пошёл солдатом. А теперь думаю, не случайно мне те парни подвернулись. Судите сами, стал бы младшим офицером, принял бы присягу, и в Гражданскую честь да погоны привели бы меня не в Красную, а в Белую армию, на Дон, в Новороссийск... Так могло быть. Но судьба иначе решила. Доверять ей надо. Слышать. Чуйку, как у вас тут говорят, иметь. Вот я и доверяю. Под пулями никогда не наклонялся. И трусов — терпеть не могу. А вы в Гражданскую где были?

— Работал в Камышловe, ответственным редактором «Известий». В 1918-м приняли в партию,

а когда Колчак наступать стал, зачислили в партизанский отряд. Руководил нами, кстати сказать, ваш однофамилец, бывший рабочий паровозного депо. В боевых условиях я газету редактировал — дивизионную, «Окопная правда» называлась. Потом, уже в Перми, белые в тюрьму посадили, но из тюрьмы я сбежал. Сбежать-то сбежал, а к своим пробраться не смог — наши отступали за Каму, всюду колчаковские заслоны стояли... Тогда решил в Сибирь идти, а зима стояла суровая, не только с людьми, но и с погодой пришлось воевать. Одет еле-еле, шёл пешком, обморозился, а спас меня тогда один крестьянин — вот сколько живу, столько его вспоминаю... Подобрал в лесу, уложил на дровни и провёз, скрыв под рогожей, мимо поста колчаковского. Мне ведь обязательно нужно было в Камышлов вначале попасть, узнать, что с семьёй. Сколько они тогда претерпели... Камышлов город маленький, все знали, что Валентина — жена большевика, что он с Красной армией ушёл. Дом обыскивали, сестёр, тётку Валяннушки арестовали, племянника шашками зарубили.

Хозяин невидящими глазами смотрел на круглые, мирные, игральные шашки... Игра остановилась, не до неё теперь было.

— Валентину не трогали, думали, что я к ней проберусь — как приманку держали. Дети с ней были, и ещё одного ребёнка ждала, мальчика...

Когда пришло время рожать, отправили в барак, к скарлатинозным. Оба они тогда заболели, и Валянушка, и сынок новорождённый. Вот в те самые дни я в Камышлов и добрался. Сбрил усы, бороду, чтобы не узнали белые... Повидались мы, но остаться надолго я не мог — направился дальше, в Сибирь, там нужны были большевики, там шли тогда главные бои против колчаковцев. Тюмень, Омск, Каинск, Томский урман, партизанский отряд... А сынок новорождённый умер. Константином звали, как вашего батюшку. У меня ведь трое сыновей было, Алёша, Вовка, Костя, а остались — три дочери.

— И у меня три дочери. О сыне всегда мечтал...

— Девочки, видно, сильнее. Вот и в шашках самые сильные — «дамки».

— Моя матушка была сильнее любого мужика в нашей деревне. Когда справиться не могли, Устинью звали. Я понимаю, вы не про ту силу говорите...

Мужчины замолчали.

— Смотрите, — сказал вдруг хозяин, — как за окном светло стало! Снег пошёл. Это наши уральские белые ночи. Город весь светится в такую пору, как шкатулка волшебная. Скучал я по нему в те годы, ох как скучал... И по городу, и по дому этому, и по временам счастливым. Дом-то ещё до революции строили, в 1914-м. Но мы с Валянушкой не успели здесь пожить до войны. Мы с ней

познакомились в училище женском, епархиальном. Я до той поры преподавал только у мальчиков, а тут вдруг — девчонки. «Ну, говорю, посмотрим, что вы за народ». Валентина у меня училась, но предложение я ей сделал только на выпускном вечере. Вот так и сложилось всё. Через многое вместе прошли, как я ей не надоел?.. Ну что, ещё партейку?

— Давайте!

Вновь застучали шашки по доске, вновь выиграл хозяин.

— Не умею проигрывать, — улыбнулся гость. — Даже если для победы.

— Потому что мыслями вы не здесь, — отозвался хозяин. — Чувствую, что беспокоитесь, а о чём — не знаю. Расскажите?

— Лучше вы мне ещё про себя расскажите. Как писать начали? Учителем были, журналистом, редактором, всё вроде близко, но книгу-то написать не всякий может.

— Одну, думаю, всякий. Жизнь любого человека — это и есть книга, у кого — роман, у кого — сказка, а у кого — поэма. Вы человек эпический, вам обязательно нужно написать мемуары, воспоминания... Не думали об этом?

— Думал, да не знаю, с чего начать.

— Доверьтесь себе, и слова сами польются. Вот вы правильно заметили, что я не на литератора учился. Собирал фольклор, слова приметные за-

писывал, но занимался другой работой. Хотя первые сказы именно тогда сочинял — примерялся. А потом, перед войной ещё, настало для меня тяжёлое время: сына Алёшу похоронил, из партии исключили, без работы оставили. Ареста ждал со дня на день.

Гость сжал в ладони несколько шашек — крепко, аж костяшки забелели.

— Вот и я сейчас жду, со дня на день, — глухо сказал он. — Семьдесят два человека из моего окружения арестованы. Все боевые генералы, цвет армии. Перебил вас, продолжайте.

Хозяин положил свою сухонькую ладонь на крупную кисть генерала — рука разжалась, выпустила шашки. На коже — красные отпечатки-кругляши.

— На целый год я тогда остался без работы. Время в саду-огороде проводил — каждый куст здесь, каждое дерево нашими с Валянушкой руками посажены. Вспоминали Алёшу.. Девятнадцать лет ему исполнилось, практику проходил — и погиб во время взрыва. Валянушкин любимчик был... Вот так все наши мальчишки и ушли, один за другим. Вовочке три года было, заболел воспалением лёгких, когда мы из Усть-Каменогорска на Урал возвращались. Про Костю уже сказывал.

— Смерть ребёнка пережить — не дай бог никому.

Теперь уже гость положил ладонь на руку хозяйина, пытаясь неумело успокоить старика. Забытые шашки лежали на столике вперемешку — как убитые солдаты на поле боя.

— Днями в огороде копался, — рассказывал хозяин, — ночами за конторкой стоял. По словечку, по шажочку продвигался, хотя поначалу писалось, конечно, быстрее, чем теперь. Молод был, сил много. А теперь-то меня ещё и зрение подводит — слепну. Да и других болезней хватает. Знаете, я прежде думал, что холодный пот — для выразительности сказывается. А стариком стал, болеть начал — и убедился, что никакого здесь нет преувеличения. Действительно, таков он и есть в самом деле — холодный пот. Но что-то я о болезнях разговорился... Возраст, наверное.

— Все мы моложе не становимся...

— Ну, вам-то рано на годы грешить! Вы в самом что ни на есть расцвете — погодите, будет ещё у вас много чего в жизни радостного. Но если не пойдёт работа над книгой сразу же, не отставляйте. И не каждого критика слушайте! Про меня говорили, что занимаюсь фальсификацией фольклора, разгромные статьи готовили. Я веру в себя надолго терял, за новые истории не брался, а кладовую писательскую всё равно пополнял. Как будто внутри что-то подсказывало — однажды пригодится. А потом, когда мне уже шестьдесят исполнилось, издали мою «Шкатулку», и началась

совсем другая жизнь — одна книга, другая, награды... Вон недавно на китайский язык перевели, кино сняли, балет поставили... Всё это лестно, как любому сочинителю, — но когда пишешь, не о том думаешь.

— А люди своё вычитывают. Кого-то красота уральская завораживает, кто-то истории с тайнами любит... Вот на фронте один лейтенант всё сидел с вашими сказами, тогда я о них впервые и услышал. Это же детские, говорю, а он отвечает — дети одно возьмут, мы — другое.

— Никогда не думал, что буду детским писателем. Я для взрослых писал, а только вот ребятки стали вдруг главными читателями. Каждый день письма с рисунками получаю — кто Огневушку нарисует, кто Серебряное копытце...

Хозяин устал от долгого рассказа, сторбился над столиком — и сам стал похож на одного из своих персонажей, мудро уставшего старика.

— Засиделись мы, — опомнился гость. — Ночь на дворе. Поеду.

Аккуратно сложил шашки в коробочку, провёл рукой по столику, как бы прощаясь.

В прихожей хозяин остановил его:

— Вот что хотел ещё сказать вам, Георгий Константинович. Дни наши — они словно камешки. Иные блестят, как изумруды, другие картинку показывают, как яшма. А есть такие серенькие, на

первый взгляд — гранит или порода пустая, но потом оказывается, именно из этих дней и складывается самый главный рисунок жизни. Будьте здоровы.

Пожали друг другу руки — и распрощались.

Через два года после этой встречи, в декабре 1950 года маршал Победы Георгий Константинович Жуков провожал в последний путь Павла Петровича Бажова: в числе других близких людей нёс гроб с телом великого уральского писателя. По грустной иронии судьбы, фотография похорон стала единственным цветным снимком в архиве Бажова. А серые дни уральской ссылки спустя годы вспоминались Жукову не только обидой и вечным напряжением, но и светлой радостью от нечаянно вспыхнувшей дружбы. Как открывались для героев Бажова загадочные горы, так и для маршала Жукова Урал стал особенным местом, где он помимо прочего нашёл свою последнюю и самую сильную любовь — Галину Семёнову, которая родит ему дочь (ну да, снова дочь!) Машу. Маршал Победы вернётся в Москву, станет министром обороны, затем вновь попадёт в опалу и будет работать над своими многотомными мемуарами денно и нощно, забывая побриться — так что даже вахтёрша однажды откажется пускать его домой, не узнав:

— Вы кто такой?

Павел Петрович, наверное, посмеялся бы, услышав эту историю, да и верит в неё не каждый. Как, впрочем, и в то, что Георгий Жуков играл однажды ночью в поддавки с уральским сказочником.

Было оно взаправду или нет — теперь уж и не узнаешь.

Но у нас сказывают, было.



ДОРОГА В НЕБО

- 1, 4 Георгий Бахчиванджи — Герой Советского Союза,
 легендарный лётчик-испытатель
- 2, 3, 5 Эдуард Россель — губернатор, мечтавший ле-
 тать

1

Конечно же, никакой дороги в небо не существует — дороги строят на земле. Но если долгие годы ходить по земле одной и той же дорогой, поневоле начнёшь смотреть не только себе под ноги, но и вверх, в небо, в бело-голубой экран. Самолёты расчерчивают гигантский холст инверсионными мазками, облака предсказывают ясную погоду, и откуда-то слева, как на детском рисунке, выносит стаю — птицы будто галочки из списка выполненных дел.

Хорошо смотреть в небо взглядом пешехода. Плохо — если этот пешеход всю жизнь мечтал летать, а потом мечту в секунду отменили, и вот уже вверх летит не самолёт, а справочник городов СССР — распаивается на букве «С». Самарканд, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Сочи, Суздаль, Сургут, Сызрань, Сыктывкар... Он выбрал тот, где больше всего вузов — крупный

промышленный город, Средний Урал, Свердловская область, и неясно, *в какой области* — новая дорога. Ему двадцать лет, небо для него закрыто, и прогноз никогда не изменится. Это другие будут летать в облаках, испытывать сложные машины, «потому, потому что мы пилоты»... Мечта так долго бродила в крови, что, кажется, вошла в состав организма — а теперь нужно привыкать жить без неё, учиться входить на борт пассажиром.

Но прежде, конечно, — выбрать институт, получить образование... Мама мечтала, чтобы сын стал врачом, вот поэтому, хоть душа и не лежала к медицине, первым делом он всё-таки отправился в Свердловский медицинский институт. На улицу Репина.

— А что это у вас тут такое, напротив?

— Это у нас городская тюрьма, молодой человек. Следственный изолятор.

Смотреть на тюрьму, снова, изо дня в день, на пути в институт и обратно проходить мимо облаков колючей проволоки и зарешеченных окошек? Не будет он врачом, прости, мама. Ещё и по этой причине — не будет.

Следующая остановка — Горный институт. Пока добирался, вспоминал то, что пытался забыть.

Село Бор Борского района Горьковской области. Семья — поволжские немцы, но, когда тебе

четыре года, ты не мыслишь такими категориями, ты даже слов таких не знаешь. Семья для четырёхлетнего мальчика — это мама и папа, родной дом и добрые руки, вкусная еда и тёплая постель. Для тех, кто вначале пришёл забирать и расстреливать отца, а потом — арестовывать маму, всё это — излишние подробности и не имеющая ценности информация. *Собирайтесь, гражданка. С ребёнком — не положено, лес рубят, щепки летят.* Целый Бор срублен, семейное древо стало щепками. Год 1941 — начало войны для всего мира и конец прежней жизни для светлоголового (в обоих смыслах слова) ребёнка, родившегося в 1937 году и наречённого именем Эдуард.

Мать умоляла разрешить ей взять с собой малыша, кричала на всё село — крик этот будет стоять в ушах сына долгие годы. Его забрала соседка, но там большая семья, еды даже своим не хватало, а тут ещё немчика кормить. В августе 1941 года Эдик навсегда покинул село Бор — прыгнул в вагон, поезд шёл до Кирова.

Впереди — несколько лет беспризорной жизни, придётся выживать, прятаться, кормиться от случая к случаю и никогда ничего не бояться. Проблему страха Эдик решил раз и навсегда — когда ему было лет восемь, он ночевал на кладбище. Первые ночи трясся от страха, а потом привык — и спал на могилах, как мёртвый.

Видела бы мать... Хорошо, что не видела! Она откуда-то знала, что сын жив, что они обязательно встретятся, когда кончится этот кошмар — пусть даже начнётся какой-то другой, лишь бы закончился этот.

Эдик, вождь беспризорников, чумазый гаврош из Кировской области, любил смотреть в небо — глаз не мог оторвать от аэропланов и самолётов. На земле в те годы было безрадостно, крона семейного дерева не могла укрыть и защитить; но в небе всё было иначе. Стремительные рокочущие птицы над головой, имена лётчиков-героев — Супрун, Стефановский, Малышев, Жданов, Кабанов, Бахчиванджи...

Когда-нибудь к ним добавится его фамилия — ну и что, если она немецкая! Он прославит своё имя в воздухе, он будет испытывать чудо-машины и совершать подвиги.

Вот, например, Бахчиванджи — тоже не русское имя. Грузинское, турецкое?

Оказалось, что греческое, но говорить об этом было в те годы не принято. Совсем недавно лётчик Бахчиванджи геройски погиб во время испытаний нового реактивного самолёта БИ-1 над свердловским посёлком Кольцово. Эдик слышал, как про Георгия рассказывает радио — торжественные металлические голоса клялись, что подвиг его не забудется.

2

Георгий Бахчиванджи родился далеко от свердловского посёлка Кольцово — в станице Бриньковской, под небом Краснодарского края. Он тоже в раннем детстве лишился матери — но у Эдика-то мама жива и обязательно найдёт его, а маленький Гриша даже толком и не помнил свою мать, казачку Марию Ефимовну. Ему было два года, когда она умерла, и отец, Яков Иванович, женился на вдове Агнессе Степановне Гринько. Агнесса Степановна стала для Гриши и старшего Ильи заботливой, нежной матерью. Только в сказках мачехи злые, думал Гриша, а в жизни всё иначе, на то она и жизнь. Биография Агнессы Степановны была причудливой: в юности она вслед за старшими братьями уехала в Нью-Йорк, где работала на трикотажной фабрике, вышла замуж за библиотекаря-революционера, родила дочь Олимпиаду и сына Всеволода, стала вдовой, а после 1917 года с детьми вернулась на родину. В сельской местности прокормиться было легче, чем в Москве, — вот она и уехала в село Берестовое, тридцать пять км от Бердянска. На мельнице, в соседнем Троицком, познакомилась с Яковом Ивановичем Бахчиванджи — тот тоже вдовый, с двумя сыновьями... «У тебя двое, у меня двое, вместе легче растить будет».

Слова «мачеха» (ну что за слово — будто чихнул кто!) Григорий не произнёс ни разу, любил, берёг и защищал Агнессу Степановну, учил младших детей (родилось ещё пятеро, семьи, как и деревья, были тогда большими) заботиться о маме. И она — как подхватила двухлетнего малыша на руки в день встречи («Гришечка, Гриша!»), так и не выпускала бы, но, увы, детям в семье Бахчиванджи рано довелось повзрослеть. Когда семья переехала в Мариуполь, на остров Бузиновку, Гриша начал работать вместе с отцом на заводе имени Ильича — стал слесарем-трубопрокатчиком, следил за охлаждением печей. Он с малых лет был неравнодушен к технике — и в литейной мастерской успел поработать, и помощником машиниста. В свободное время ремонтировал посуду, музыкальные инструменты, да, в общем, всё, что нуждалось в починке, мог исправить и наладить. А смотрел всё равно — выше. В небо. Наблюдал за птицами — не как поэт, мечтатель или орнитолог, нет, Гриша пытался понять, как они летают. Птица — вот настоящее чудо! Маленький живой самолёт, у которого есть и крылья, и лапы-шасси, и встроенный компас. Как-то раз Григорий собрал модель самолёта из дранок, но он, зараза такая, летать не пожелал. Ничего, однажды у него всё получится — и он тоже поднимется в небо.

В 1931 году Григория Бахчиванджи призвали в армию. Разумеется — в авиацию: судьба его была начертана на небесах, инверсионными следами. Оренбургское лётное военное училище он окончил сразу по двум специальностям: лётчик — это раз, техник по вооружению — два.

3

Пройти по конкурсу в училище и стать лётчиком-испытателем вместе с Эдуардом хотели ещё двести шестьдесят человек. До финала добрались шестнадцать — комиссия просеивала претендентов сквозь мельчайшее сито. Здоровье должно быть безупречным — испытывать новые машины советское государство доверяло лучшим из лучших. Зрение, давление, сердечные ритмы, психическая устойчивость...

К тому времени Эдуард уже ничем не напоминал чумазого гавроша-беспризорника. Хороший рост, крепкое телосложение, красивое, чуточку холодноватое лицо. Десять лет назад милиционер, знавший всех кировских беспризорников по имени, выдернул его из толпы «коллег»:

— Эдик, тебя мать разыскивает!

Тогда бывшие заключённые могли подавать просьбы о восстановлении семей — и мать, осво-

бодившись, действительно нашла сына в Кирове. Это был один из первых счастливых случаев в его жизни — уже смирившись с собственным сиротством, он снова обрёл семью. А дальше нужно было идти вперёд и смотреть вверх. В общем, он так всегда и делал — ничего интересного под ногами не разглядишь, всё лучшее — за облаками, в небесах.

Посёлок Водный, Коми АССР. Напротив дома — тюрьма, соседи — бывшие сидельцы, зато здесь есть настоящая школа, и у него теперь — настоящий портфель, учебники, тетради! Десятилетний Эдик поступает в первый класс — он плохо владеет русским языком, хорошо — немецким и просто отлично — языком улицы. Учительница русского и литературы, ленинградка, жена политзаключённого, начала давать ему книги, одну за другой. Учителя-словесники — лучшие психологи, и вот уже русский язык — широкий, бескрайний, как майское небо, — стал родным для мальчика.

При этом каждый день, да не по разу, его называли то немцем, то фашистом — в зависимости от ситуации и характера собеседника. В те времена, впрочем, то были синонимы — немец и фашист, какая, в сущности, разница.

Можно было, получая паспорт, записаться русским — и председатель поселкового совета на это всячески намекал, согласившись выдать документ лишь с третьего раза. Но если ты начина-

ешь жизнь с обмана, с предательства собственно-го рода, в небо тебя точно не возьмут.

Он ведь ещё тогда, беспризорником, всё решил. Выучится, поступит в лётное — и начнёт испытывать новые сложные машины. Как Бахчиванджи! В школе записался в кружок юных авиаторов при клубе ДОСААФ, изучал теорию и даже поднимался в небо, с инструктором. По-настоящему! Впервые! Был, конечно, на седьмом небе, и в одном, и в другом смысле слова... Самолёты Ан-2 и По-2, до реактивных — как до Луны...

На входе в свердловский Горный институт попытался вытряхнуть из памяти горькие мысли — как лепестки яблоневого цвета, которыми налетевший ветер присыпал ему голову и плечи. Лепестки отряхнулись легко, горькие мысли никуда не исчезли, разъедали душу обидой.

Он никогда не станет лётчиком, потому что не стал по документам русским.

Комиссия из двадцати врачей осматривала претендентов только что не с лупой — желающих стать лётчиками-испытателями (в перспективе — ещё и космонавтами) было куда больше, чем «посадочных мест».

Эдик выдержал все испытания, не срезался на медкомиссии ни в Ухте, ни в Сыктывкаре, но слово из пяти букв в графе «национальность» перечеркнуло все эти достижения. Документы отпра-

вили в Даугавпилс, — там находилось высшее военное авиационное училище — счастливый абитуриент готовился к экзаменам, как вдруг пришла повестка в военкомат.

Полковник, в кабинет к которому Эдик явился точно в указанный час (пунктуальность — его особая примета, такая же, как зелёные глаза), сказал, сочувствуя:

— Жаль, но мандатная комиссия твои документы завернула. По двум причинам: первая — это национальность, а вторая — что отец твой был расстрелян.

На редкость порядочным человеком оказался тот полковник, Эдик часто будет вспоминать его с благодарностью.

— У меня тут есть одно направление в Киев, на факультет хирургии медицинского института — бери и поезжай!

Но Эдик не мог согласиться: кто-то с детства мечтает стать врачом, кому-то нужны небеса.

Полковник рассердился:

— Ты что, с ума сошёл? Другому дай — сапоги лизать будет! Иди домой, поговори с матерью...

А у мамы его тоже была своя мечта — чтобы сын выучился на доктора. Так что полковник верно чувствовал: дома идея получит поддержку. Именно поэтому Эдик и не сказал ничего матери — у неё тоже был сильный характер, она могла убедить, повлиять, заставить...

Через три недели в кабинете всё того же полковника Эдуард окончательно отказался от Киева — и услышал:

— Что ж, тогда в течение суток тебе нужно исчезнуть из Ухты. Срочно поступай в другой институт! Хоть какой, неважно где. Иначе заберут в армию, а тебе учиться надо.

Вот тогда и полетел под потолок справочник городов СССР и приземлился — в Свердловске.

4

Жора Бахчи — так друзья называли лётчика Георгия Бахчиванджи. Он был весёлым, компанейским, но при этом — надёжным, обстоятельным, отважным. Герои прошлых лет видятся нам бронзовыми статуями, но за каждым памятником — живой человек и судьба, вполетённая в историю страны так, что не поймёшь, где заканчивается общественное, а где начинается своё. Плакатные портреты на почтовых марках, беллетризованные биографии, восхищённые слова Гагарина, имя, присвоенное пионерской дружине, улица в посёлке Кольцово, названная в честь Бахчиванджи, — за всем этим не разглядеть живого, настоящего Жору Бахчи. Его любили друзья, на него заглядывались девушки — лётчик, герой, красавец! Начиная с 1935 года Георгий — на лётно-испытательной

работе в НИИ ВВС. Самолёты-разведчики, самолёты-истребители, испытание новых моторов в полёте... Когда началась война, Бахчиванджи в составе 402-го особого истребительного авиаполка нёс небесную службу на истребителе МиГ-3 — только что им же самим испытанном.

Лётчик-испытатель — тот, кто буднично входит в неведомое. За месяц — 70 боевых вылетов, десятки сбитых самолётов противника, но уже в августе 1941 года Бахчиванджи отзывают с фронта. Небесная атмосфера сменяется атмосферой строжайшей секретности. Ни отцу, ни матери, ни любимой жене Ираиде — ни слова. Жору Бахчи отправляют на Урал. Даже не в Свердловск — в посёлок Билимбай, за Первоуральском. Это, между прочим, Европа — а Свердловск уже в Азии, граница в двух шагах. Приезжие любят постоять одной ногой здесь, другой — там. На Европу Билимбай, конечно, не тянет — обычная деревня, спартанские условия. Но где и когда лётчики-испытатели жаловались на бытовые условия? Здесь, в Билимбае, в корпусе бывшего чугунолитейного завода, находился опытный завод № 293, где разрабатывался проект принципиально нового для Советской армии истребителя с реактивным двигателем. ОКБ инженера-полковника авиации Виктора Болховитинова получило задание — если не с небес, то немногим поближе — как можно скорее «придумать нам этот самолёт», истребитель-перехватчик, превосходящий те, что у врага.

Эвакуированные из Подмосковья конструкторы днём и ночью колдовали над БИ-1 — а будущий пилот новой машины с жидкостным ракетным двигателем сразу же стал звать её ласково «птичкой». Жора Бахчи присутствовал едва ли не на всех этапах работы, потому что хорошему лётчику недостаточно знать, как управлять машиной, — он должен понимать, как эта машина устроена.

Бахчиванджи был, конечно, не единственным кандидатом в испытатели БИ-1, но судьба настаивала на своём вполне решительно: главный претендент, лётчик Борис Кудрин, именно в эти дни серьёзно заболел. Георгий Яковлевич Бахчиванджи — смелый, опытный, дисциплинированный пилот — подходил по всем статьям. К тому же было ещё кое-что, о чём не знали командование и конструкторы, — Жора Бахчи уже многие годы мечтал совершить необыкновенный полёт, а для этого требовался необыкновенный самолёт. Посадочная скорость — сто километров в час! Возможность атаковать противника из любого положения! Перехватывать в воздухе! Двадцать пять секунд на старт и разгон до девятисот километров в час! БИ-1, товарищи, это даже не самолёт, а крылатая ракета. От такого шанса не отказываются.

Фюзеляж «птички» изготавливался в Нижнем Тагиле — знаменитом на всю страну промышленном городе.

5

Нижний Тагил — новая родина Эдуарда, которому, конечно же, не привыкать к смене городов и обстоятельств. При этом — он не актёр, который вживается в очередные декорации, меняя голос и лицо. Он принимает новое всем своим существом, не подстраиваясь под него, а вписывая жизненный поворот в рисунок судьбы, которую — и в этом он никогда не сомневался — человек создаёт сам. В те годы вера в человеческие возможности пребывала в самой высшей точке.

В 1962 году Эдуард окончил старейший вуз Урала, свердловский Горный институт — специальность «горный инженер-шахтостроитель», недолгая примерка должности младшего научного сотрудника — и вот он уже в области, принят на работу в трест «Тагилстрой». Мастер, прораб, старший прораб... Ни одного звена в цепи не пропущено — он шёл, как всегда, вперёд и вверх. Пунктуален, аккуратен, придирчив к себе и к другим. Цепь превращается в лестницу, звенья — в ступеньки. Должности мелькают в трудовой книжке — главный инженер строительного управления, начальник комбината «Тагилтяжстрой», заместитель начальника «Главсредуралстроя», с января 1990 года — начальник территориального строительного объединения «Средуралстрой». Человека, прошедшего через настоящий ад в детском

возрасте, не остановишь и не собьёшь с пути. Человека, у которого украли мечту, — никто никогда не догонит. Он будет первым уже по той простой причине, что не может оставаться наедине с тяжёлыми мыслями — ему нужна работа, постоянное действие, вечное движение.

К тому времени он защитил кандидатскую диссертацию, был счастливо женат на любимой своей Аиде Александровне, у них подрастала дочь Светлана. Жену Эдуард выбрал, ещё не увидев лица, — просто шла девушка по улице, *платьице в горошек*. Человек пусть и создаёт свою судьбу самостоятельно, но в действительно важные моменты жизни всегда принимает подсказки и знаки от того, кто выше, в небесах, куда как ни старайся — а всё равно смотришь изо дня в день, любясь буйным закатом или медленным танцем облаков.

Вот и он тогда сразу же понял: это моя будущая жена! Одна-единственная на всю жизнь. Как говорила ему бабушка: «Эдик, есть много прекрасных цветов — но ты можешь сорвать только один».

За Аидой тогда кто-то ухаживал — но Эдуард с этим кем-то вначале поговорил, а потом слегка побил его, потому что человек не сразу понял — шансов здесь нет и не будет.

Второго апреля 1990 года Эдуард Эргартович Россель (новая должность предполагает использование отчества — и вскоре в Свердловской обла-

сти его научиться выговаривать каждый) был избран председателем Свердловского облисполкома. Теперь к его обычному строительству — а он оказался одарёнейшим в этом деле специалистом, способным свернуть горы на месте будущих фундаментов, — добавилось строительство незримое, но ещё более сложное.

Тот, кто мечтал стать пилотом, стал неожиданно для всех — и для себя самого — политиком. И пусть эти новые крылья, скроенные на манер модного двубортного пиджака, не способны поднять в небеса, ощущение полёта они дарят похожее.

Да и ветер перемен, поднявшийся в стране, пришёлся очень кстати. Впрочем, никакой ветер не поможет, если нет собственных крыльев — но крылья у него как раз таки были.

И то, что он стал первым губернатором Свердловской области, — не случайность и не везение, а вполне закономерный ход судьбы. Вроде тех естественных поворотов на дорогах, которые опытный строитель не то что не игнорирует — а напротив, вписывает в проект.

Когда грянет гром и мощные предприятия страны будет сотрясать дрожь лихолетья, губернатор попытается спасти заводы своей области.

У него это получится.

Когда в области окажется хлеба на три дня, он целую ночь будет вести телефонные переговоры с Казахстаном, а под утро вылетит туда,

чтобы подписать очень невыгодный экономически, но единственно возможный в той ситуации договор.

И это получится.

В общем, получилось у него почти всё. Многие сбылось — птички-галочки в списке выполненных дел могут улетать в тёплые края.

Видите золотые купола на том берегу? Храм-на-Крови, возведённый на месте Ипатьевского дома. Эту стройку — дело чести — губернатор контролировал лично, каждый день приезжая на объект. Построили. Сдали. Сияют купола!

А вот это, например, американское консульство. Первое за пределами столиц, открытое исключительно благодаря губернатору Росселю...

Однажды на Диком Западе, рассказывая заокеанской публике о неведомой Свердловской области, Эдуард Эргартович увидел, как один из сенаторов тычет пальцем в карту, пытаясь найти этот самый *region* в районе Африки. Губернатор аккуратно взял сенатора за палец и переставил его к правильному месту на карте.

— Но там ничего нет! — возмутился сенатор. — Там тайга и медведи. А вы нам — про вузы, консерваторию, театры, заводы...

Приехали — сами убедились, и консульство открыли в Екатеринбурге, хотя изначально речь шла про Новосибирск.

А выставка вооружений в Нижнем Тагиле?

А Уральский военный округ, сохранить который удалось только благодаря личным усилиям Росселя (никто даже представить себе не может, какие то были усилия).

А святые места, Меркушино и Верхотурье?

А онкологический центр, а областной центр сердца и сосудов?

А симфонический оркестр, а шефство над подводными лодками?

А морская кадетская школа под Сысертью? В память о собственном беспризорном детстве...

Губернатор-строитель. Преобразователь. Хранитель. Патриот Среднего Урала — не родного, но родимого края.

На пресс-конференции юная журналистка тянет руку, как первоклассница, выучившая урок:

— Эдуард Эр-гар-то-вич, а что бы вы хотели, чтобы в честь вас назвали в области? Ну, или в городе? — выпаливает на одном дыхании.

— Умру — тогда и узнаете.

Журналистка не сдаётся — им ещё на первом курсе объяснили, что корреспондент должен быть настойчивым:

— И всё-таки ответьте, пожалуйста!

— Так уж назвали в честь него, — говорит кто-то с места басом.

И все хором:

— Россельбан!

Дорога, ведущая в аэропорт Кольцово, — и сам новый аэропорт. Любимый проект губернатора Росселя.

Отсюда взлетают самолёты, здесь ближе всего к небу.

6

Официальный адрес аэропорта Кольцово — улица Бахчиванджи, 1. Людей, которые жили до нас, забывают быстро — пусть даже металлические голоса из тарелок на столбах клятвенно обещали обратное. Отныне имя живёт как будто само по себе, превращаясь в название улицы, обрастая бытовыми подробностями (оказывается, может быть «рынок Бахчиванджи» и «пробка на Бахчиванджи»)...

Пятнадцатого мая 1942 года Георгий Бахчиванджи совершил первый испытательный полёт на реактивном самолёте БИ-1 — на аэродроме Кольцово в Свердловске. Долгие дни до этого он «испытывал» самолёт на земле, как обычно делают лётчики, — изучал «птичку» вдоль и поперёк. Защищал перед скептиками — не смотрите, что такой маленький самолёт, он стоит десятка тех, что больше! Пробежка, подлёт, определение устойчивости при разбеге — теперь следовало сжать кулаки или молиться, кто как привык.

Долго ждали, пока ветер разгонит облака, — «птичка» терпела вместе со всеми. Только к четвёртому пополудни небо прояснилось, и вначале Бахчи поднялся вверх на По-2 — чтобы определить видимость ориентиров с воздуха. Все нервничали в тот день, все перестраховывались. Ещё бы — впервые в жизни в небо поднимется крылатая ракета!

Впервые в жизни команда «От винта!» прозвучит иначе — «От хвоста!».

Из сопла летело пламя, и самолёт стремительно поднимался в воздух — так быстро, что Георгий поверить не мог ни своим глазам, ни ощущениям. БИ-1 оправдывал и превосходил ожидания, но думать об этом было некогда — через минуту жидкостно-реактивный двигатель прекратил работу, и лётчику нужно было посадить самолёт с остановившимся мотором. Он сделал это не так аккуратно, как хотелось бы, — при посадке отскочило колесо. Бахчи был недоволен собой, назвал полёт аварийным, а все его поздравляли, обнимали, хвалили!

Нужно было работать дальше — конструкторам в ангаре, лётчику — в небесах. Лишь 10 января 1943 года Бахчиванджи во второй раз поднял в воздух «птичку» — новую версию БИ-1. Колёса заменили лыжами, приземление прошло благополучно. Третий, четвёртый, пятый, шестой полёты... Задачи менялись, усложнялись — приходи-

лось не просто поднимать самолёт в воздух или заходить на посадку без поломок, а развивать максимальную скорость и летать до полной выработки топлива.

Считается, что семь — счастливое число. Седьмой полёт Бахчиванджи на БИ-1 третьей версии назначили на 27 марта 1943 года. Проверили и опробовали всё, что можно. Наверху как будто бы сделали по такому случаю генеральную уборку — начисто отмытый горизонт, главный зритель готовится смотреть небесный спектакль.

Жора Бахчи ещё раз кивнул друзьям-коллегам — и пошёл на взлёт. Поднялся на две тысячи, сделал разворот, вышел на прямую... Достиг скорости 800 км/час, *молодчина, птичка, не подведи!* Осталось совсем немного — выполнить вираж и на посадку..

На аэродроме все не отрывая глаз следили за самолётом, который вдруг пошёл на снижение, а лётчик отчего-то не выравнивал машину.

Радиосвязи с пилотом не было.

Бахчи ещё мог успеть прыгнуть с парашютом, но этого не произошло.

Самолёт скрылся из виду, через минуту раздался взрыв.

Причина смерти Георгия Бахчиванджи так и не была установлена — считается, что он умер в воздухе, не приходя в сознание, когда «птичку» затянуло в пике.

Испытания первого советского реактивного самолёта продолжались до 1945 года, на БИ-1 летал Борис Кудрин. Но вскоре работы по созданию истребителя-перехватчика прекратились — отпала необходимость в подобных машинах. Война закончилась, авиаторы отныне решали проблемы увеличения дальности полётов, а это уже совсем другая история.

Юрий Гагарин, погибший, кстати сказать, в тот же день, что и Георгий Бахчиванджи — спустя 25 лет, 27 марта 1968 года, — и в том же возрасте 34 лет, сказал: «Без полёта Григория Бахчиванджи не было бы 12 апреля 1961 года».

А памятник «птичке» — раскинувшему крылья самолёту БИ-1 — стоит против главного входа в екатеринбургский аэропорт Кольцово.

7

Конечно же, никакой дороги в небо не существует — дороги строят на земле. Но... если речь идёт о дороге в аэропорт? О том самом Россельбане, как его тут же окрестили горожане? Народная топонимика — вот самая мощная слава. Только оставшись в языке, в ежедневном людском разговоре, превратившись в название, имя обретает бессмертие.

На Урале мало было таких дорог — екатеринбуржцы ездили в своё Кольцово, чертыхаясь и под-

прыгивая на ямах. И тут вдруг появилось этакое чудо — скоростная, широченная, освещённая трасса — ну прям как в Европе. И сам аэропорт Кольцово, благодаря всё тому же Росселю, неустанно курировавшему процесс, из захудалого провинциального отстойника превратился в один из лучших портов страны. Третий «хаб» в России! Гости города завистливо оглядываются по сторонам — ну вот что бы и у нас в С., Н., Х., да мало ли городов в нашей большой стране, не выстроить такое чудо!

Напротив входа в терминал внутренних рейсов — памятник самолёту БИ-1, любимой «птичке» Георгия Бахчиванджи. Прославленный лётчик похоронен на Малоистокском кладбище в посёлке Кольцово — никогда не живший в Свердловске Жора Бахчи стал одним из самых известных горожан.

То, о чём мы мечтаем, навсегда меняет нашу жизнь. И даже если мечту грубо вырвали из рук, это вовсе не означает, что она однажды не сбудется.

Дорога, аэропорт — всё это, конечно, прекрасно, но Эдуарду Росселю с детства хотелось летать самому, а не входить на борт пассажиром.

В 1999 году, на выставке вооружения под Нижним Тагилом, в небо поднимался самолёт МиГ-29. Зрители крутили головами — а где губернатор, он ведь столько сил положил на эту выставку, неужели не приехал?

— МиГ-29 пилотируют заслуженный пилот России Юрий Левит и губернатор области Эдуард Россель, — вежливо ответил всем сразу громкий голос диктора.

Вот так он всё-таки стал пилотом. Брал уроки, тренировался на земле и в небе, летал...

Однажды вылетел с утра пораньше в Курганскую область — покружился над зданием администрации, где работал его друг и коллега.

— Представляешь, разлетались! — жаловался ему тем же вечером по телефону курганский губернатор.

Тот, кто хотел стать лётчиком, вначале должен был отдать все свои силы другому делу, а после — построить аэропорт и дорогу, которая и привела его в конце концов к небу.

И кстати, небо из кабины пилота выглядело точно таким же, как в детстве — когда он смотрел в него, до боли запрокинув голову назад.

Было оно бескрайним и ясным, как жизнь четырёхлетнего мальчика, ничего ещё не знающего о силе судьбы и собственной воле.



ДОМ, КОТОРЫЙ...

- 1, 2, 3 *Борис Ельцин — ещё не президент*
- 4 *Дом инженера Николая Ипатьева, человека, не искавшего славы*
- 5 *Борис Ельцин с супругой на церемонии захоронения царской семьи*

1

Когда покупаешь дом, думаешь о чём угодно, только не о смерти. О том, что ты сам, твои близкие или какой-то случайный человек испустит дух в этом жилище и оно превратится из места для жизни в место смерти — даже в голову не придёт размышлять! Замечаешь, крепки ли стены, надёжна ли крыша, не будет ли здесь холодно студёной уральской зимой. Перекрытия, ограда, печь, соседи, достаточно ли комнат для прислуги, ухоженный ли сад — вот что занимает покупателя, а не мысли о ней, которая, впрочем, всё равно однажды придёт, думай не думай...

Вот почему он так удивился, когда хозяин особняка заговорил вдруг о смерти. Начал издалека:

— Видите ли, господин инженер, у этого дома есть определённая особенность.

— Скверная? — насторожился покупатель, но хозяин замахал руками:

— Да что вы, напротив! Прекрасная особенность, и будь на моём месте менее честный человек, он запросил бы, кх-м, сверху. Дом-то построили в конце семидесятых прошлого, стало быть, века, и вообразите, господин инженер, за эти долгие годы — а у нас с вами нынче 1909-й на дворе — ни один человек здесь не упокоился. Ни одного мертвеца, прости господи, отсюда не выносили. Надеюсь, и дальше так пойдёт, господин инженер!

— Ваша правда, — усмехнулся покупатель, — я буду жить вечно.

Но хозяин уже рассуждал о другом — что дом его простоит сотню лет и пусть господин инженер не сомневается: за такие деньги да в самой середине города он ничего в Екатеринбурге не съест! Электричество имеется. Ванная. Телефон! Ещё и сад, пусть небольшой: акации, сирень, берёзки, липы, ёлочка. И очень удобный нижний этаж, не смотрите, что полуподвальный, — там можно мастерскую устроить или прислугу разместить... Пальцев загигать не осталось, а достоинства всё не кончались.

Только слепой не увидел бы, что дом этот — надёжный, крепкий и стоит в хорошем месте, на косогоре. Покупатель передёрнул плечами, вспомнив афористическое изречение Козьмы Пруткина (зачитывался в молодости): «Не ходи по косогору — сапоги стопчешь». Но это он, пра-

во слово, зря вспомнил — не пойдёт за плохую примету. Была у инженера, пусть и трудился он всю жизнь по технической части, постыдная слабость к приметам — другой и не увидит здесь никаких знаков, а он весь изведётся, точимый предчувствием.

Инженер спускался за хозяином в подвал, считая ногами ступени, и тут же сбился со счёту, перебирая в мыслях достоинства дома. Супротив него церковь — хороший знак. Дом сам по себе красивый — светло-розовый кирпич, как... молоко, слегка подкрашенное кровью. Инженер едва не упал, запнувшись на последней ступеньке: вот что за мысли? Может, брешет хозяин — и дом этот проклят? Надо непременно батюшку призвать, пусть освятит жилище наново.

— Чтой-то побелели, господин инженер, — забеспокоился хозяин. — Дурно вам?

Покупатель взял себя в руки. Отличный дом! Просят чрезмерно — шесть тысяч, но лучше не найти. В Петербурге за такие деньги разве что мебелированные снимешь, а тут — целый особняк. Комнаты просторные, окна много света впускают...

— И стены крепкие! — хозяин откликнулся на мысли, как на слова. Нет, правда что, завтра же батюшку призовёт и образа развесит. В подвале надо бы святого покровителя — Николая Чудотворца.

— По рукам? — спросил продавец.

— По рукам, — кивнул новый хозяин. И пошёл по лестнице вверх, теперь уже самым внимательным образом считая ступени. Получилось — двадцать три.

2

Теперь такое не принято — чтобы всерьёз советовать со стариками или, пуще того, подчиняться их запретам. Да пусть лучше старики нас слушают! Нравится это или не нравится, но современный мир требует специальных знаний и особых умений, и потому разница между поколениями с недавних пор шире Большого Каньона и глубже Марианской впадины. Никто не поверит, что шестьдесят лет назад нужно было обязательно явиться к деду и спросить, можно ли поступать в Политех на строительный, нет ли слова против? А дед, как и внук, с характером — отборный фрукт! Бородача — как у русского писателя из XIX века.

— Не пуцу, — говорит, — тебя во строители, пока ты мне вот здесь, во дворе, своими руками что-нибудь не построишь!

(Морозко из детской книжки, а не дедушка родный.)

— Построишь ты мне, — говорит мечтательным голосом, — баньку. Со предбанничком.

У внука через два месяца — вступительные экзамены! Вообразите нынешнего такого абитуриента: к самодуру-дедушке направился за советом, а потом, вместо того чтобы с репетиторами штаны до дырьев просиживать, он ему баню строит! Никакой нынешний родитель такого не попустит, но у деда свой расчёт и своя правда, при том что баньки у него действительно не имелось. В старости же чаще хочется не чтобы стакан воды поднесли, а косточки погреть, ну, и покомандовать, конечно, — показать, кто был и остался главным.

Внук до последнего надеялся, что старик будет ему помогать или хотя бы руководить строительством, но тот всего лишь договорился с леспрохозом, чтобы делянку отвели. А дальше, дружок, давай сам! Сосны спилить, почистить, обсушить, на себе перетаскать к месту будущей баньки, потом — фундамент, сруб до самого венца... Строить — не ломать! Чуть не целое лето ушло, только на время экзаменов внук уезжал в Свердловск — там сдавал теорию, а у деда во дворе — практику. Справился и с тем, и с другим, экзамены сдал хорошо, ну, и дед был вынужден признать: «Банька пригодная, так что, может, и получится из тебя строитель. Только не отвлекайся ни на что другое: человек не крот, ему не нужно рыть сто ям — лучше всю жизнь копай в одном месте, там и найдёшь своё счастье...».

Эти слова — слова старого человека, который смотрит на жизнь с другого её конца, того, что ближе к смерти. Всякий хочет уберечь своё потомство от ошибок, от этих осточертевших грабель, что бьют прямо в лоб каждому новому поколению... Но у молодости — своя правда, и потом, как узнаешь, в том ли месте копать, если не попробовать одно за другим? Внук профессионально играл в волейбол и так увлёкся, что подорвал здоровье на бессчётных тренировках, — но иначе нельзя, ведь если дед в чём-то и был прав, так это в том, что отдавать себя делу нужно целиком, не размениваясь. Но ведь учился-то не в институте физкультуры, а в том огромном здании с колоннами, что венчает проспект Ленина. УПИ, Уральский политехнический институт, специальность — промышленное и гражданское строительство, — та дедова банька была лишь первым пунктом в длинном списке возведённых объектов. И всё же волейбол казался ему не менее важным: в молодости всё кажется равноценным, но когда спорт стал забирать все силы, начала хромать учёба, а этого юноша стерпеть не мог. Ему нужны были отличные отметки, и он не придумал ничего лучше, чем заниматься ночами, потому что день уходил на тренировки. Организм отозвался высокой температурой и скверным самочувствием, но хозяин даже не подумал изменить режим — и тогда возмутилось сердце. Врачи заявили — если четыре

месяца пролежишь в больнице, сердце восстановится, нет — погубишь его навсегда.

Он уехал к родителям, но лежать на ровном месте — не про него. «Клин клином выпшибают» — вот это здесь больше подходит. Почти сразу же начал тренироваться, хотя поначалу даже стоять на месте не мог — мотало из стороны в сторону! Зато врачи, когда увидели его в Свердловске через пресловутые четыре месяца, были довольны: ну вот, сразу видно, что вы лежали и береглись! А он разве что отоспался...

Диплом написал за месяц вместо положенных пяти — волейбол по-прежнему отнимал и время, и силы: тренировки, сборы, соревнования... Между прочим, диплом у него был на примечательную тему — глядя из будущего, символическую: «Телевизионная башня». Для 1955 года — очень сложный и смелый проект. Никаких разработок в этой области в те годы ещё не было, приходилось до всего доходить самому. Через час после защиты диплома он уже сидел в поезде «Свердловск–Тбилиси» — впереди были игры на первенство страны. Поезд тронулся, за окном поплыл свердловский вокзал, замелькали городские окраины... Домá давно сменились деревьями, вечер — ночью, а он всё никак не мог уснуть на своей полке — думал, что когда-нибудь придётся отказаться от волейбола. Нужно будет делать только одно дело, и делать его хорошо.

3

Его новый адрес в Екатеринбурге — Вознесенский проспект, 49/9. Инженеру нравились девятки — даже считал, что они приносят счастье. Родился он в год с «девяткой» в окончании — 1869-й, был, что называется, коренной московский житель, плоть от плоти старой Пресни. Безупречное происхождение, крепкий дворянский род. Отец был известнейшим в Москве архитектором, мать занималась воспитанием детей — у Николая имелись брат Владимир и сестра Вера. Маму, Анну Дмитриевну, Николай всегда вспоминал с нежностью и обидой на несправедливость судьбы: какая-то пара десятилетий, и врачи научатся исцелять туберкулёз, который свёл её в могилу. Ну что бы этой проклятой напасти не подождать! Сейчас непременно вылечили бы, мама была лишь тридцати трёх лет от роду... После смерти Анны Дмитриевны их со старшим братом Владимиром отдали в кадетский корпус — ибо только военное воспитание может превратить мальчика в мужчину. Окончив корпус, Владимир поступил в Михайловское училище — и не на шутку увлёкся химией, предпочитая, как всякий мальчишка, взрывчатые вещества. Вот только изучал он их со страстью, недоступной мальчишкам: стал преподавателем в артиллерийском училище, изобретателем и учёным с мировым именем. Владимир

открыл химическую реакцию, прославившую их фамилию на весь свет, создал в прямом смысле слова бомбу, отладил производство взрывчатых веществ в родном Отечестве, стал главой Химического комитета России, генерал-лейтенантом и вообще легендой.

Николаю выпала в сравнении с братом довольно тусклая судьба, но он и не искал громкой славы и не подозревал, что она всё равно однажды ухватит его за рукав и, рыча, как бешеный пёс, потащит напрямик к страшному бесмертию.

Никто не знает, чем запомнится наше имя в веках — и с каким выражением его будут произносить потомки (если будут). Брат Николая, выдающийся химик, в конце концов уедет в Америку, начнёт переписываться с Эйнштейном, разрабатывает технологию получения топлива, на котором будут летать во Второй мировой войне самолёты союзников. А что же сам Николай?

Когда ему исполнилось шестнадцать, он стал юнкером Николаевского инженерного училища — то было одно из самых престижных образовательных учреждений России. В 1888 году будущий хозяин дома на Вознесенском проспекте поступил в инженерные войска подпоручиком, после обучался в Николаевской инженерной академии, из которой был выпущен по первому, как тогда выражались, разряду. Военный инженер-по-

ручик начал службу в сапёрных частях, на строительстве железной дороги в 1894-м — том самом году, когда на российский престол взошёл его тёзка, Николай II.

Инженер не был революционером, но не был и ярым монархистом — с персоной русского царя его не связывало ничего, кроме имени. Да мало ли в России Николаев!

«Ни-колай, ни-дворай!» — вспомнилось вдруг обидное и совершенно неуместное прозвище, которым его наградили во время учёбы. Что ж, двор у него теперь имеется, а без кола и обойтись можно.

Железнодорожная магистраль Пермь–Котлас, на строительстве которой инженер трудился под занавес века, считалась одной из сложнейших — преодолевали таёжные буреломы, адские болота, непредсказуемые реки, работали при чудовищных морозах и безжалостных ветрах... И всё это — в диких, неосвоенных краях, в тяжелейших бытовых условиях! Николай, впрочем, не унывал — работоспособности, таланта и терпения ему было не занимать. И заслуги его получили в конце концов признание — имя военного инженера было упомянуто в списке особо отличившихся офицеров. Безупречно честный человек, говорили о нём коллеги.

В 1904 году магистраль была окончена, и вместе с нею как-то незаметно окончилась и моло-

дось Николая — ему исполнилось тридцать пять, зрелый по тем временам возраст.

Женился — супругу звали Мария, она была из хорошей московской семьи, а человеку из хорошей московской семьи навряд ли захочется кормить комаров в Котласе и без конца переезжать с места на место... Рецепт здесь был единственный — выйти в отставку и поселиться в одном из крупных городов, где требуются инженеры-путейцы (а требовались они в те годы повсюду). Почему бы и не на Урале? Брат его, Владимир, лестно отзывался о Екатеринбурге, в котором побывал в 1895 году в командировке. Жил в «Американской гостинице» на Покровском проспекте, где пятью годами раньше останавливался Чехов по пути на Сахалин. Чехову Екатеринбург не понравился, а вот Владимир остался доволен и городом, и его жителями.

Град святой Екатерины он описывал брату с удовольствием, подчёркивал, что для деловых людей здесь создаются самые благоприятствующие условия.

Хорошо начинать новую жизнь одновременно с новым веком — подспудно веришь, что это принесёт успех. Чистый лист, семья, дом и, разумеется, работа — пока жена устраивала быт в особняке на Вознесенском проспекте, инженер нашёл надёжных людей и открыл собственное предприятие по строительству железнодорожных путей.

Всё шло как по маслу — или, уместнее сказать, как по рельсам: едва ли не сразу удалось получить подряд на прокладку южного участка дороги Пермь—Екатеринбург. О, это был отличный заказ, многие желали, но достался Николаю Николаевичу. И фирма его сработала на совесть — даже спустя сто с лишним лет будут добрым словом поминать прокладчиков этих путей. В 1910 году по ним прошёл, пыхтя и посвистывая, первый железнодорожный состав, а подрядчика наградили памятным золотым жетоном.

В Екатеринбурге новый горожанин освоился быстро — он был общительным, энергичным, легко сводил знакомства. Когда открывали первый городской вуз — Горный институт, — инженера пригласили принять участие в работе специального строительного комитета по надзору за возведением корпусов. Почёл за честь, как и членство в Уральском обществе любителей естествознания — знаменитом УОЛЕ.

Новый век тоже быстро набирал обороты — пока бывший москвич пускал корни в уральской земле, Россию сотрясали нешуточные бури. Но инженер, будучи прогрессивным гражданином, верующим к тому же в просвещение и благо перемен, не слишком-то волновался о судьбе государства и о своём будущем. Инженеры востребованы любым режимом, а тёзке-императору, может, и вправду лучше отречься от престола...

Октябрьский переворот Николай Николаевич встретил спокойно — более того, выступил в поддержку новой власти, надеясь, как и многие другие, что ей удастся сделать для России то, чего не смогла власть прежняя.

А вот 1918 год начался для инженера неважно — как любой человек, полный сил и здоровья, никогда и ничем не хворавший, он воспринял внезапное дурное самочувствие трагически. На дворе была весна, они с женой принимали гостей из Петрограда — дальние родственники собирались пробыть на Урале до июля. Николай просил их не стесняться и чувствовать себя здесь так же вольготно, как если бы это был их собственный дом.

Собственный дом... Каким бы уютным и удобным ни казался инженеру особняк на Вознесенской горке, он так и не привык считать его своим. Всякий раз, проходя анфиладой комнат, гуляя по саду, любуясь из окон золочёными куполами храма, он вдруг неожиданно вздрагивал, как от резко налетевшей лихорадки или дурного предчувствия: такое способно вмиг затянуть душу сомнениями, как небо над Екатеринбургом молниеносно затягивает облаками.

«Это, верно, по нездоровью», — решил инженер и, вспомнив, как супруга расхваливала курорт в сотне с лишним вёрст от Екатеринбурга, собрался туда в один день, оставив петроградцев

в одиночестве. Они, впрочем, не возражали — даже приятно было пожить в отдельном доме хозяевами. В Петрограде у них всего лишь квартира, а здесь — особняк! Сад, колокольный звон, стрижи... Из каждого окна — свой вид и особый пейзаж.

Чудесный дом. Повезло этим Ипатьевым!

4

«Все так делают» — вот оно, самое краткое и широко распространённое объяснение людских поступков. Годы юности бывшего волейболиста, чей диплом о высшем образовании ещё пах типографской краской, требовали подчинения общим правилам — и «все так делают» было из них самым понятным. В самом деле, как поступить в ситуации, если ты сомневаешься и никогда не сталкивался ни с чем подобным? Проще всего — к тому же безопаснее — обратиться к чужому опыту, спросить совета у старших — словом, сделать «как все». Ну а тот, кто решает поступать на свой лад и риск, должен быть готов к дружному непониманию и коллективному осуждению, потому что «так никто не делает». Тот, кто предпочитает общей широкой дороге тропинку, протоптанную собственными ногами, наверняка помышляет выделиться из толпы, а это уже пре-

ступление. Люди живут в одинаковых условиях, носят похожую одежду, мечтают об одних и тех же, расфасованных равными кусками, свершениях, и стóбит какой-нибудь голове вознестись над ровной линией — обладатель тут же получит по носу.

Он знал это лучше других, но то ли в силу характера, то ли ещё по какой-то причине не мог противиться внутреннему правдоборцу, который на всё имел своё мнение и высказывал его в самых неподходящих (ему-то казалось, в самых подходящих) случаях. После окончания семилетки, на школьном выпускном вечере, когда все со слезами в голосе благодарили педагогов за терпение и щедрость души, он взял слово для того, чтобы рассказать уважаемой аудитории правду про учительницу-самодуршу, действительно отравившую им *школьные годы чудесные*. Одноклассники промолчали — потому что *все так делают*, но внутренний правдоборец не боялся ни чёрта, ни ладана. Нельзя такому учителю работать в школе — в этом он не сомневался, а когда он не сомневался, то шёл напролом: тропинку приходилось топтать в буреломе.

И сейчас, после института, когда ему с ходу предложили должность мастера в строительном управлении треста «Уралтяжтрубстрой», точно так же с ходу отказался. Дед был прав — нужно освоить специальность и только потом обучать её пре-

мудростям других. Драгоценный год молодой жизни (ну что поделать, если в молодости годы и в самом деле кажутся ценнее тех, что придут на смену), не сожалея, потратил на знакомство с двенадцатью строительными специальностями. Двенадцать месяцев, как в сказке, ушли на то, чтобы не просто называть себя каменщиком, бетонщиком, плотником, столяром, стекольщиком, маляром, штукатуром, машинистом башенного крана и так далее, — а научиться каждому из этих ремёсел. Не для того, чтобы выделиться из толпы, — тем более он и так выделялся благодаря росту, харизме, смелости, — а потому что внутренний правдоборец не позволял поступить иначе. Успеешь стать мастером, какие твои годы.

В 1955 году он действительно занял должность мастера, к 1957-му стал прорабом, через год — старшим прорабом Свердловского строительного управления треста «Южгорстрой», в 1960 году — главным инженером, а затем и начальником стройуправления. Не штурмовал карьерную лестницу, но поднимался по ней вверх легко и без усилий — как в подъездах тех редких домов, которые возводились с мыслью о людях, что будут здесь жить. В том же 1960 году пригласили вступить в КПСС: беспартийный начальник — в те времена это был оксюморон. Когда ему исполнился тридцать один год, он занял должность главного инженера Свердловского домостроительного

комбината — ДСК, а в 1968 году его вдруг вызвал к себе второй секретарь Свердловского обкома партии Яков Петрович Рябов. Это приглашение могло означать что угодно — по лестнице можно как подниматься, так и спускаться. Приёмная, кабинет, рукопожатие...

— Борис Николаевич, — сказал Рябов, — кандидатуру вашу обком изучил всесторонне. Производственные показатели отличные, руководитель вы примерный, член горкома, депутат горсовета... Предлагаем вам перейти на новую работу — партийную с профессиональным уклоном. Будете заведовать отделом строительства Свердловского обкома.

Он к тому времени успел много что построить в Свердловске — от детсадов и школ до производственных цехов Химмаша и Верх-Исетского завода. Кидали его, как тогда говорили, на самые разные объекты — городу требовались новые современные здания. В те годы Свердловск не мог похвастаться впечатляющим архитектурным обликом — о том, что это заповедник конструктивизма, знали в те годы только специалисты-искусствоведы. Двухэтажные купеческие особнячки, построенные немецкими военнопленными дома, торопливо возведённые хрущёвки, сталинский ампи́р фрагментами и тот самый, не оценённый пока ещё конструктивизм — таким был Свердловск 60-х.

«Всестороннее изучение» кандидатуры означало прицельный интерес начальства — руководители высшего звена довольно часто вырастали из строителей, и в этом была своя логика. Строители лучше других понимали, как всё строится, устраивается и выстраивается. Законы на производстве и в политике действовали тогда одни и те же. *Все так делали.*

Борис Николаевич предложение Рябова принял, хоть и жаль ему было расставаться с комбинатом — да и зарплата на новом месте была существенно ниже. Он воспринял новое назначение как вызов, очередную баньку, которую нужно было построить в рекордно сжатые сроки. Самый молодой — тридцать семь лет! — руководитель в обкоме... Впереди его ждали семь лет на посту «главного по строительству» в Свердловской области — за это время появились киноконцертный театр «Космос», ДК «Урал», Дом политпросвещения в Свердловске, ДК в Первоуральске и Нижнем Тагиле. В 1975 году Борис Николаевич Ельцин стал секретарём обкома КПСС, а в 1976-м по рекомендации Политбюро ЦК КПСС был избран первым секретарём Свердловского обкома. Отныне ему предстояло отвечать за всё, что происходит в области, и исполнять даже те постановления, которые были приняты задолго до того дня, когда он впервые вошёл в свой новый кабинет.

Все так делали — и делают.

5

Весной 1918 года власть в Екатеринбурге принадлежала Уральскому областному совету рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Днём 27 апреля, когда инженер Ипатьев восстанавливал здоровье на курорте, в дом на Вознесенском проспекте доставили особое распоряжение — от хозяев требовалось в двадцать четыре часа очистить помещение. Петроградские гости ещё не успели дочитать бумагу до конца, а вокруг дома уже вовсю кипело строительство: возводили высокий, чуть не в полздания, забор. Послали известие хозяину, и тот незамедлительно выехал в город — когда покидал курорт, буквально кипел от ярости, но чем ближе к Екатеринбургу, тем спокойнее и хладнокровнее становился. Перечитать новой власти — бессмысленно. Что затевается в его особняке, неизвестно — но ведь немислимо всего за сутки переехать из обустроенного дома! В первом этаже у инженера содержалась контора подрядных работ, во втором проживал он сам с семьёю. И как прикажете переменить целую жизнь в двадцать четыре часа?

Прибыв в Екатеринбург, инженер подал Совету протест — в спокойнейшем, но непреклонном тоне доказывал, что подготовить дом для новых обитателей, кем бы они ни были, требует времени. Пусть ему предоставят хотя бы двое, а лучше

трое суток взамен указанного в распоряжении! Председатель областного совета Белобородов и председатель местного совета Чвекаев оба заметно нервничали, но спорить с Ипатьевым не стали, тот умел убеждать. Новые жильцы дома уже прибыли из Тобольска в Екатеринбург и дожидались приготовлений в вагоне поезда, на вокзале.

Спешно сколоченный высокий забор скрывал нарядный дом от прохожих и был так уродлив, что у инженера щемило сердце. Рядом с парадной лестницей появилась будка часового, всем, кроме размеров, напоминавшая собачью. Подозрения, намёки, слухи, суровый стиль официальных обращений, испуг петроградцев, которым срочно требовалось другое жильё, — всё это сложилось в мыслях инженера в сюжет вполне определённого толка. Он был человеком, чуждым сантиментов, да к тому же внимательно следил за последними известиями... Инженер Ипатьев полагал, что его прекрасный дом с хорошей репутацией был выбран в качестве временного пристанища для отрёкшегося от престола российского императора. Впервые он помыслил такое ещё по дороге с курорта в город, а теперь, когда разрозненные части картины сложили рядом и будто смазали клеем, как в детской игре, Ипатьев уверился в своих дерзких предположениях. И даже, будем честны, почувствовал нечто

вроде гордости — не всякий дом выберут для жизни монарха: пусть и опального, преступного, но всё-таки государя-императора! Не всякий — а его, Ипатьева, выбрали. Что ж, пусть жилой дом Николая Ипатьева станет временным дворцом Николая Романова, после чего царское семейство перевезут ещё куда-нибудь — в Пермь, в Германию, в общем, всё равно.

Почему выбрали именно его дом, когда в Екатеринбурге имелись и куда более роскошные особняки? Николай Николаевич думал об этом, когда хлопотал над переездом и в особенности когда возвращался на курорт к жене, оставив успокоенных петроградцев на квартире своих близких друзей.

Скорее всего, дело было в его удачном расположении. Самая середка города, отличный обзор, неподалёку — станция железной дороги. Жильё удобное, места в доме хватит на большую семью — и на слуг, и на охрану. Бежать отсюда по-тихому не по плечу даже фокуснику.

Дом Ипатьева был построен горным советником Редикорцевым, мыслившим, как думается, о долгой жизни — здание возводилось добротное и прочное, на века. Проект был аккуратнейшим образом вписан в ландшафт — учитывал рельеф крутого склона Вознесенской горки. Та часть здания, которой дом был обращён к проспекту, получилась одноэтажной, противоположная — уже

о двух этажах. Ладный, удобный особняк — живи да радуйся...

Через восемьдесят дней после отъезда инженера Ипатьева, в конце июля 1918 года, представители облсовета вернули петроградским гостям ключи от дома и разрешили вернуться на Вознесенский проспект. Те от предложения отказались — не зря по городу ходили слухи про Ипатьевский дом (теперь у него было собственное имя). Чей-то бывший слуга, а ныне красноармеец, охранял узников Ипатьевского дома и даже предлагал *показать царя* через замочную скважину. Рассказывали про выстрелы и крики в ночь с 16 на 17 июля, про вой собак, про тяжело идущий грузовик, вывозивший из дома непонятно какую тяжесть, про найденную в грязи драгоценную пуговицу и бриллиантовый крест... Петроградцы уехали из Екатеринбурга за неделю до того, как в город вошли белые и в доме Ипатьева временно разместился штаб командующего Сибирской армией, чехословацкого генерала Радолы Гайды. Моложавый, подтянутый, обладатель коротких по моде того времени усов, Гайда обедал за бывшим царским столом, изучал бумаги в кресле императора, а на раме одной из комнат заметил надпись — «17/30 апр. 1918». Первый день пребывания в заключении — понятный страх утратить чувство времени, когда не мо-

жешь ни от кого добиться ответа на вопрос: «Какое сегодня число?»

Инженер Ипатьев вернулся в Екатеринбург 1 августа, когда по приказу нового коменданта города полковника Шериховского уже началось расследование обстоятельств гибели венценосной семьи. Искали тела, свидетелей, ценности, подключали следователей, рыли землю в прямом и переносном смысле слова. Ключи от осквернённого дома Николай Николаевич с супругой получили из рук генерала Голицына, начальника гражданского управления, — и, когда зашли домой, это слово — *«домой»* — застряло у хозяина в горле.

Супруга осталась наверху, а инженер спустился в полуподвальное помещение, вспоминая, как десять лет назад шагал по этим ступеням вверх. Стены изрыты отверстиями, покрыты «букетами», как на обоях, — уже слегка поблекших, но несомненно красных, алых, багровых цветов.

В конце лета инженер Ипатьев и его жена Мария уехали из Екатеринбурга, а после покинули Россию, присоединившись к колонии русских эмигрантов в Чехословакии.

Дому, где в одну ночь приняли мученическую смерть одиннадцать человек, ныне суждено было жить без хозяина. Неспешное чтение в кабинете, обеды за большим столом, прогулки в саду, поце-

луи на ночь — всё это осталось в прошлом, как остались в прошлом молодость и прежняя жизнь. В 1919 году Екатеринбург вновь заняла Красная армия, и в доме Ипатьева — а где ж ещё! — расположился её штаб.

6

Как все горожане, высокопоставленные и нет, Ельцин по многу раз в неделю проезжал по улице Карла Либкнехта, где напротив Дворца пионеров стоял, угрюмо нахохлившись, грязновато-розовый особняк. Комсомольцы Урала, скульптурная девушка и юноша со знаменем в руках, грудью шли вперёд на этот старый дом. Вознесенский проспект давно сменил имя, называясь теперь в честь потомка Мартина Лютера и крестника Карла Маркса, одного из основателей германской компартии. А вот особняк на углу Карла Либкнехта и Клары Цеткин никто переименовывать не собирался — каждый свердловчанин знал, что это дом инженера Ипатьева, где расстреляли Николая Кровавого *вместе со всей семьёй и собачкой* (на самом деле собак в расстрельной комнате было три: французский бульдог великой княжны Татьяны, королевский спаниель великой княжны Анастасии и спаниель наследника, единственный, которому удалось выжить, потому что он не

выл в ту июльскую ночь). Конечно же, знал об этом и Ельцин, и его предшественники, и гости города, таинственным шёпотом просившие местных жителей «сводить их к тому самому дому». Неофициальная, но главная достопримечательность, тёмная слава Свердловска, ну и, разумеется, бельмо на глазу — вот чем был в середине 70-х Ипатьевский дом.

В 1975 году председатель Комитета государственной безопасности Андропов отправил в ЦК КПСС письмо под грифом «секретно» (а других он, вероятно, и не писал) и заголовком «О сносе особняка Ипатьева в городе Свердловске».

«Антисоветскими кругами на Западе периодически инспирируются различного рода пропагандистские кампании вокруг царской семьи РОМАНОВЫХ, и в этой связи нередко упоминается бывший особняк купца ИПАТЬЕВА в г. Свердловске.

Дом ИПАТЬЕВА продолжает стоять в центре города. В нём размещается учебный пункт областного Управления культуры. Архитектурной и иной ценности особняк не представляет, к нему проявляет внимание лишь незначительная часть горожан и туристов.

В последнее время Свердловск начали посещать зарубежные специалисты. В дальнейшем круг иностранцев может значительно расширяться, и дом ИПАТЬЕВА станет объектом их серьёзного внимания.

В связи с этим представляется целесообразным поручить Свердловскому обкому КПСС решить вопрос о сносе особняка в порядке плановой реконструкции города.

Проект Постановления ЦК КПСС прилагается. Просим рассмотреть.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ АНДРОПОВ».

Зарубежные специалисты в Свердловск 70-х приезжали, честно сказать, не в самых впечатляющих количествах. В основном то были чехи да монголы. Свердловск считался городом-побратимом Пльзеня, по городу бегали симпатичные красно-жёлтые трамвайчики чешского производства, пионеры из Клуба интернациональной дружбы принимали в гостях пльзеньских рабочих, прибывших по обмену опытом на Верх-Исетский завод. Монгольские студенты получали высшее образование в Уральском государственном университете. Вот, пожалуй, и всё. Свердловск был закрытым городом-заводом, хотя, конечно, случались отдельные визиты идеологически опасного свойства: говорят, однажды пришлось принимать высокого гостя из братской Африки. Добрая половина встречающих и не видала до той поры чернокожих — а царёк тот прибыл ещё и со свитой. Мёрзли гости, помнится, жутко, пришлось переодевать их в тулупы да шапки-ушанки. И вот, когда свердловчане везли эту деле-

гацию по центру города, показывая достопримечательности в окна машин, один из сопровождающих возьми да ляпни: дескать, по правую руку от нас — тот самый знаменитый дом Ипатьева, где расстреляли последнего русского царя со всеми его родными и близкими. Африканский царёк побледнел, насколько смог, залопотал быстро-быстро по-своему, и переводчик попросил водителя сейчас же ехать в Кольцово, потому как высокие гости немедленно улетают. «Дикая страна, — думал, наверное, царёк, поднимаясь по трапу своего самолёта, — хорошо, успел ноги унести — а то закрыли бы в том доме, и поминай как звали...»

На заседании Политбюро ЦК КПСС 30 июля 1975 года решение о сносе особняка в Свердловске приняли единогласно — правда, подписал его не Брежнев, а Сулов.

Сам первый по причине летнего отпуска находился в то время на отдыхе в Крыму.

Ельцин, привыкший вникать в каждое дело, которым приходилось заниматься, нашёл подписанное решение — а по сути, приказ! — в сейфе рабочего кабинета, который занимал когда-то Яков Рябов, предшественник, отправленный на повышение в Москву. Почему Рябов не выполнил конкретное указание высшей власти? Два года ведь прошло, приличный, в общем-то, срок. Имел что-то против? Не желал, чтобы его поставили

в памяти народной в один ряд с Юровским, Ермаковым и другими героями, расстрелявшими классового врага?

В 1974 году, за год до появления секретного письма Андропова, Ипатьевский дом получил статус историко-революционного памятника всероссийского значения. Всесоюзное общество охраны памятников истории и культуры, узнав о запланированном сносе, пыталось оттянуть исполнение «приговора» настолько, насколько это было возможно. Вообще вокруг особняка на улице Карла Либкнехта всегда клубились краеведы и просто любопытные граждане, не говоря уже о мальчишках, которые катались с Вознесенской горки на санках и попутно старались любым способом проникнуть в странный дом, о котором взрослые говорили шёпотом и с оглядкой.

Кто только не обитал в Ипатьевском доме после отъезда владельцев! В 1922 году здесь проживал однофамилец цареубийцы и, отчасти, коллеги инженера Ипатьева — Андрей Ермаков был командиром 6-го полка дорожно-транспортного отдела ГПУ Пермской железной дороги. В 1927 году в здании торжественно открыли Музей революции — экскурсантов вплоть до 1932 года водили в расстрельный подвал, с гордостью показывая кое-где сохранившиеся пятна и следы от пуль. На смену революционному пришёл Антирелигиозный музей, здесь же рабо-

тала организация с удивительным названием «Совет безбожников», но по какой-то необъяснимой для материалистов причине ни частные персоны, ни общественные организации в доме Ипатьева надолго не задерживались. Особняк будто бы отторгал их, избавляясь при первом же удобном случае, — оставались только названия, мелькавшие в архивных записях, как сосны мелькают за окнами поезда «Свердловск–Ленинград». «Здесь был Вася», — писали на стенах хулиганы советского времени, а в Ипатьевском доме были ректорат Урало-Сибирского коммунистического университета, общежитие, отделение Института культуры, областной партархив, «Союзпечать»... В годы Великой Отечественной войны в стенах Ипатьевского дома хранилась часть коллекции Эрмитажа, увезённая в эвакуацию из Ленинграда. Ещё один привет из давнего прошлого: встреча живых картин с призраками их убиенных владельцев...

Первый секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Николаевич Ельцин отлично понимал, что вопрос о сносе Ипатьевского дома отныне обращён к нему напрямую. Как любой наследник, он отныне должен был не только владеть имуществом бывшего хозяина, но и выплачивать его долги. Внутренний правдоборец настаивал на этом обстоятельстве особенно — а ещё напоминал о том, что умение возводить новые

здания неразрывно связано с умением сносить старые.

В 1977 году в Свердловске стали поговаривать, будто бы заграничная организация ЮНЕСКО собирается включить Ипатьевский дом в список памятников человеческому варварству — и взять его под собственную охрану. Это была очень серьёзная угроза, а слухи на пустом месте не возникают, как, кстати, и здания, которые не придётся охранять после сноса: нет дома — нет ЮНЕСКО! К тому же приближалась опасная дата — шестьдесят лет расстрелу царской семьи, в связи с чем в зарубежной печати нет-нет, да появлялись пространные статьи со ссылками на мнение потомков Романовых. Да и гости Свердловска всё чаще отказывались от обязательной экскурсионной программы, требуя отвести их в частном порядке к Ипатьевскому дому. Один такой гость — довольно известный ленинградский профессор — даже устроил небольшую склоку на тему «Хочу видеть дом, где царевен кололи штыками». Профессора вразумили, насколько это было возможно в принципе, а сотрудникам областного экскурсионного бюро под угрозой увольнения запретили упоминать Ипатьевский дом даже шёпотом. В общем, тучи сгущались, наносило со всех сторон, как вдруг очень кстати подоспела плановая реконструкция улицы Карла Либкнехта, которой явно не хватало ширины и простора. Переулок, на ко-

торый выходила часть дома, предполагалось стереть с лица земли и в рамках этих работ снести дома, препятствующие реконструкции, в том числе — особняк Ипатьева.

Николай II и его семья не назывались в конце 70-х «царственными страстотерпцами». По городу ещё не были развешаны покаянные плакаты «Прости меня, мой Государь», а в церковных лавках не продавались иконы с ликами Романовых. Свердловчане даже много лет после сноса Ипатьевского дома будут подпевать «Городу древнему» Александра Новикова «...здесь от века было тяжело, здесь пришили Николашку...». На школьных уроках и вузовских лекциях Николай II по-прежнему выводился упырём и вурдалаком, сочувствовать ему в те годы могли разве что маленькие дети, случайно услышавшие историю про расстрел. Чаще всего они переживали не о погибших в адских мучениях людях, а о маленькой хорошенькой собачке, попавшей убийцам под руку. Жалеть юных царевен (даже имён их толком никто не знал) или наследника было, мягко говоря, не принято — цари мучили народ, потом народ замучил царей. Всё по справедливости, так ведь?

Первый секретарь обкома Ельцин сделал то, что от него требовалось сделать, — выполнил приказ, на который не хватило духу (а возможно, времени) его предшественнику. В сентябре 1977 года особая комиссия измерила дом вдоль

и поперёк, чтобы, если появится возможность, восстановить его впоследствии на новом месте. С лучших фотографов города взяли подписку о неразглашении, после чего собрали их в Ипатьевском доме — и попросили заснять обстановку максимально тщательно. Плёнки, разумеется, изъяли. Вещи разобрали музейщики, что-то растащили зеваки — многое исчезло без следа. Вокруг здания — второй раз в этом веке — выстроили высокий забор.

Днём 22 сентября к особняку инженера Ипатьева подъехали бульдозер и шар-баба. Взрывать было запрещено — могли пострадать соседние здания. Крепко сложенный дом сопротивлялся до последнего — но рабочие треста «Средуралмеханизация-2» и не такие крепости брали...

Целый век простоял на косогоре этот дом, не одна сотня людей стоптала здесь свои сапоги. Давно лежали в могиле инженер Ипатьев, его жена и брат, не было в живых цареубийц и первых следователей, белых и красных генералов, Ленина и Свердлова... И вот теперь не было и этого дома — остались фотографии и миф о царской семье, который, полагали наверху, исчезнет вскоре после того, как будет увезён с места сноса последний камешек.

Но миф камнями не закидаешь — он мало того что уцелеет, так ещё и обрастёт подробностями. Тот, кто выполнил приказ снести Ипатьев-

ский дом, отныне считался главным виновником его уничтожения — хотя заказчики этого «убийства» проживали далеко от Свердловска и представления не имели о том, с каким звуком работает шар-баба. Но сомневаться в том, что Ельцин снёс дом Ипатьева — всё равно как не верить тому, что Авраам родил Исаака.

Ельцин, конечно же, не мог предугадать, какой «шар-бабой» станет для него то, как считалось, рядовое решение. Он обладал отличной интуицией, более того, всегда чувствовал, когда из него хотят сделать крайнего, и противился этому, как мог. Но в 1977 году поступил иначе. Возможно, потому что было здесь кое-что ещё, признаться в чём Борис Николаевич не решился бы даже самому себе. Такой внутренний трепет, щекотный, как прикосновение бабочкиных крыльев. В архивных записях — а Ельцин прочитал всё, что смог найти про Ипатьевский дом, прежде чем поставить подпись на итоговом решении, — он встретил упоминание о том, что задолго до того, как горный чиновник Редикорцев начал строительство дома на косогоре, здесь находилась церковь. Небольшой храм. И прежде чем поставить здесь новый храм — вдруг придёт кому-то в голову? — надо было освободить для этого место.

Крамольные мысли, а впрочем, их, может, и не было — всего лишь трепет бабочкиных крыльев, неразличимый в грохоте ударов шар-бабы.

7

Когда уже в зрелом возрасте оставляешь Родину, стараешься реже думать о том, «а что было бы, если всё-таки...». Подчиняешь свою жизнь заботам, глушишь себя работой, как водкой, учишься любить чужой город и произносить слова на незнакомом языке. Обрастаешь учениками; железные дороги — они и в Чехословакии железные дороги, а инженеры, как, впрочем, и строители, нужны при любой власти. Инженер Ипатьев давал консультации, преподавал, трудился на стройках прекрасного европейского города, ничем не напоминающего Екатеринбург. У Екатеринбурга, как он знал из газет (писем с Урала никто не присылал — да и не хотел бы он их оттуда получать), теперь было новое имя — Свердловск. А оставленный инженером дом на Вознесенском проспекте (тоже, поди, переименовали) весь мир звал отныне Ипатьевским.

Человек технического склада, Николай Николаевич Ипатьев верил тем не менее приметам и знакам судьбы. Михаил Фёдорович Романов был избран царём в Ипатьевском монастыре Костромской губернии, а через триста лет его потомок Николай Александрович Романов будет зверски убит в Ипатьевском доме Екатеринбурга. Совпадения — это всего лишь совпадения или же за каждым случайным сходством кроется сила судьбы?

В Риме — они с женой были там в прошлом году — инженер хотел увидеть святую лестницу Сан-Лоренцо: ту самую, по которой Христос шёл к Пилату. Набожные католики поднимаются по Скала Санта на коленях, рядом с ними хрипела от усилий полная матрона. Николай Николаевич без труда взбирался по лестнице, вспоминая при этом другие ступени, — здесь их было двадцать восемь, там, в Екатеринбурге, двадцать три...

— Нужно помолиться о чём-то, — напомнила Мария. — Загадал, о чём станешь просить?

Добравшись до вершины Скала Санта, инженер поднялся с колен, протянув руку совсем расклеившейся итальянской матроне. Мария платила за свечи.

«Господи, — подумал инженер Ипатьев, — если я могу тебя о чём-то просить, так это чтобы мне не снились вовсе никакие сны».

Сны он видел каждую ночь — кому расскажешь, не поймут, чего тут можно испугаться, но Ипатьев всякий раз просыпался после тех сновидений с таким чувством, как если бы сумел спастись в последнюю секунду.

Ему снилась маленькая девочка с белой косичкой — ей лет пять, и она идёт вместе с отцом мимо Ипатьевского дома. В подвале горит свет, и папа вдруг предлагает: давай зайдём, там убили царя. Стены в подвале как будто исчерканы фломастером.

А вот другая девочка — она занимается хореографией во Дворце пионеров и смотрит в окно. Через улицу ломают старый особняк, как бы захватывают за углы и тянут в разные стороны, а дом не хочет разрушаться, терпит до последнего, пока наконец не выдерживает... Такой красивый розовый дом, удивляется девочка, зачем его решили сломать? Порушили бы лучше старые бараки у них во дворе, где ей не разрешают гулять...

Ещё инженеру снились чёрные тюльпаны на пороге бывшего дома.

Снились разговоры о том, что царские бриллианты замурованы в стенах — и то, как один впечатлительный мальчик увидел однажды золотую конфетную фольгу, воткнутую в дыру между кирпичами. Закричал на всю улицу:

— Сокровище!

Хуже всего было, когда ему снился угрюмый старик, бродивший по Вознесенской горке и за пару пива рассказывающий, как он убил царя. В честь того старика потом назвали улицу.

Город, навещавший Ипатьева в его пражских снах, ничем не напоминал старый Екатеринбург, из которого он уехал когда-то давно в тяжкой славе без вины виноватого. Там были широкие улицы, многоэтажные дома, памятники, руками указывающие путь к коммунизму... Всё, что он помнил, исчезло — и даже мазутная речка Мельковка скрылась в коллекторе. Одно лишь оставалось не-

изменным — его старый дом, тот особняк, который он выбирал для жизни, а выбрал — для смерти. Дом этот выглядел внушительнее, чем был на самом деле, — инженер шёл анфиладой бесконечных комнат и даже там, во сне, понимал, что будет идти так вечно, пока не умрёт.



ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ

- 1, 3, 4 *Николай Коляда — со сцены за письменный стол*
2, 5 *Старик Букашкин (Евгений Малахин) — превращение инженера*

1

Год 1988, лето «две восьмёрки». Двойная бесконечность, как будто одной мало! В шестнадцать лет уж чего в избытке, так это именно бесконечности — сразу две ленты Мёбиуса стоят на страже интересов растущей души. Точнее, не пускают эту душу туда, где ей хотелось бы оказаться — желательно вместе с телом.

Родители уже устали с ней бороться — да, мы тоже были когда-то молодыми, но не до такой же степени! У тебя и так всё есть: отдельная комната, двухкассетный магнитофон, который то и дело взрывается дурными голосами, пугая соседей. (А папа за стеной — Шопена на фортепиано.) Есть варёные джинсы — ткань как небо в перистых облаках, есть последнее лето перед десятым классом — и перистые облака в голове.

И ещё — город, который был все эти годы заколдованным чудищем, состоял из школы, дома,

мамино-папиного университета, музыкалки при Доме офицеров, — начал вдруг меняться на глазах, как будто его поцеловал нужный человек в нужное место. Новые люди приносят новые знания и показывают новые здания.

Вот, например, рок-клуб — если постоять на ступеньках ДК имени Свердлова, то можно увидеть вживую тех, кто пугает её соседей в неурочный час. Один с гитарой даже подмигнул с каким-то, не иначе, тайным смыслом. У неё столько свободного времени, сколько бывает только у очень молодых людей, — и она тратит его на домыслы, фантазии, мечты. Роман, который читает её мама, называется «В поисках утраченного времени», а у неё вся жизнь — в поисках тайного смысла. Чаще всего нет никакого смысла, ни тайного, ни явного, но она об этом даже не догадывается. Догадки посыплются позже, как шишки на голову, а пока, дайте пожить без догадок.

По утрам она читает, днём слушает музыку, родителей дома нет — у них страда, экзаменационная сессия.

Она разглядывает себя в зеркале с изумлением: недавно выяснилось, что она красива, а к этому сложно привыкнуть. Королева троллейбусных остановок — каждый второй знакомится, куда-то приглашает, а вчера из машины выскочил какой-то в шортах, с жирными ляжками:

— Девочка, поедем с нами на дачу!

Бывает ещё веселее — на прошлой неделе в трамвае, в час пик, ей кто-то невидимый по причине всеобщей сдавленности положил в руку то самое. Мяконькое такое, тёплое и очень противное. Она после этого руку свою неслла до ближайшей колонки как посторонний предмет — даже смотреть на неё не могла.

Вообще, она умеет отбиваться от придурков: лучше всего здесь помогают равнодушные и ледяной взгляд. Эксгибиционисту, которых тем летом уродилось больше, чем грибов и ягод, сказала небрежно:

— Напугал козу капустой!

Тот сразу отступил в кусты и выставку своих достижений свернул.

Вот чего по-настоящему жаль, так это что у неё нет нормальных хипповских джинсов — только модные варёнки, а в них за свою не сойдёшь. Прямо хоть продавай — и покупай ношенные!

Вечерняя зорька начинается так: уехать к площади 1905 года, потоптаться на ступеньках рок-клуба, а потом дойти до Плотинки, свернуть к улице Пушкина — искать как будто бы *своих*, но на самом деле совершенных пришельцев, чужих, не похожих ни на неё, ни на родителей-преподавателей, ни тем более на школьных учителей или одноклассников. Хиппи, ну, или хотя бы панки... Пацифик, накаляканый шариковой ручкой на джинсах, — это «знак качества», как, впрочем,

и длинные волосы под хайратником. Увы, даже если такие люди попадают — они её не замечают.

Вчера по дороге домой она сняла босоножки — и шла от самой остановки босиком. Идти было неприятно: это ж не природный парк, а рабочая окраина, того и гляди встанешь пяткой в следы человеческой жизнедеятельности. Но ничего другого она пока что придумать не могла — и несла свой жалкий протест по улицам Белореченской, Шаумяна и Ясной. Леди Годива в сильно сокращённом варианте — почти все прохожие отводили взгляды от её босых ног, только старухи, имевшие в те годы неслабую власть (сейчас все повывелись — как, впрочем, и экстибиционисты), стыдили её:

— Чай не на пляже!

Завтра снова будет охота, а сегодня трофеи невеликие — кто-то с нахмуренными бровями проскакал по ступенькам ДК, две девицы уверенно скользнули внутрь. Вручную раскрашенная афиша обещает концерт — название группы ей ничего не говорит, буквы косые, как на вывеске «Гастронома».

Она перешла площадь прямо перед трамваем — тот выдал злобный перезвон.

Мама часто говорит ей — не торопись, не беги впереди паровоза!

Четверть века спустя она закончит мамину мысль: тот, кто бежит впереди паровоза, чаще все-

го и попадает под этот самый паровоз. Юному человеку такое даже и в голову не придёт — и от мудрости старших он ограждён прочными стенами: отсутствием опыта и верой в тайный смысл.

В сквере у Пассажа, там, где обычно играет скрипач и продают картины, сегодня звучат гитара и бубен, визжит губная гармошка и дикий старец в колпаке с бубенцами поёт как заведённый:

— Кому живётся весело, вольготно на Руси?

— Ему живётся весело, вольготно на Руси!

— Тебе живётся весело, вольготно на Руси!

— Мене живётся весело, вольготно на Руси!

Свои чужие! Чужие свои... Город не так велик, она ходит по нему целыми днями (иногда босиком), но ни разу не встречала эту компанию: старика, похожему на Хоттабыча из популярного фильма, подпевают и подыгрывают на самых разных музыкальных инструментах самые разные люди, от которых восхитительно пахнет свободой — и краской. Она прячется за дерево — и от туда жадно рассматривает старика и тех, что поют-играют-завывают вместе с ним. Делают это так, будто нет в целом мире ничего более важного, чем орать-кричать частушки, или что это они такое исполняют? А инструменты — диво дивное! Она учится в музыкальной школе, может отличить домру от мандолины, но вот это что за самоделка? Не то орган, не то свирель, а может, и вовсе барабаны?

А ещё у них есть доски. Такие, на первый взгляд, обыкновенные кухонные разделочные доски, только каждая разрисована (довольно неумело), на каждой — слова. Она стоит слишком далеко и не может прочитывать — вот не могло это дерево-зараза вырасти чуточку ближе!

Интересно, что они будут делать с этими досками? Продавать? Сердце сжимается — наверное, такие никто не купит... Но вот грохот стих, умолкли бубенцы, не звенит колокольчик. Доски — точнее, досочки, к ним легко пристёгивается уменьшительно-ласкательное — вручают зрителям, прохожим, чужим людям. Она высовывает голову из-за дерева, потом решается — и делает шаг, маленький для человечества, но огромный для одного человека.

Досочки — как объясняет старик, зыряка дикими своими глазами в толпу, как будто забрасывая крючок с наживкой в воду, — морально-бытовые, шинковательно-познавательные, изо-резо-педагогические. Мудрые мысли — цветными буквами:

«В досочке, прошу учесть,
есть мораль и польза есть!»

«Я с животными дружу,
грушу отдаю ежу,
Добрый ёжик, сев на кочку,
Всем отрежет по кусочку».

«Я благодарен букварю,
Что не курю и не сорю!»

Принявший досочку мужчина в кожаном пальто (жара, июнь, а он — в пальто!) пытается всучить старику рубливку — но тот вдруг кричит на всю площадь 1905 года, на весь 1988 год, на всё то бесконечное лето:

— Мы денег не берём! Мы сами вам подарки раздаём!

Маленькая девочка (алый бант в рыжей косе) громко спрашивает маму:

— Дед Мороз сошёл с ума?

2

В тёплый августовский день на площади 1905 года стояли двое — высокий мужчина и высокий мальчик (ну ладно, не мальчик — юноша). Конечно, не только они двое стояли в тот день на площади — там и памятник Ленину стоял, и трамвай, высаживающий пассажиров: как же, думал юноша, как они все там поместились и куда все с такой скоростью бегут? На дворе 1973 год, лично он мечтает стать артистом, потому что артисты много зарабатывают. В родной деревенской школе он все восемь лет не только учился, но ещё и в самодеятельности играл, вот отец-шофёр и привёз его

в Свердловск, в этот «промышленный гигант», как говорили в журнале (не в том журнале, который почтой, а в том, что показывают в клубе перед тем, как *дать кино*). В Свердловске есть театральное училище, сын будет держать там экзамены. Коли не пройдёт — домой вернётся. Отец устроил его на квартиру, тридцать рублей дал и доехал с ним вместе до площади 1905 года. До центра, как тут говорят. Чтобы немного увидеть этот город, в который сын так рвался.

А дальше — сам. Дальше всегда — сам.

За плечами у юноши пятнадцать лет жизни в деревне Пресногорьковка — ох уж эти русские деревни с их говорящими названиями... Деревня, впрочем, хоть и называлась пресно-горько-русским именем, находилась при этом в Казахстане. Кустанайская область, Ленинский район. В семье, кроме него, — старшая сестра и два младших брата. Жили, конечно, трудно, и тридцать рублей это были очень большие деньги.

Одет юноша плохо, говорит — как вся казахская деревня, но что-то в нём ворочается особенное — театральному человеку это объяснить не нужно, а другие всё равно не поймут. Ну, и красив, пожалуй, одна преподавательница даже прогудела одобрительно:

— Ишь, губастенький!

Конкурс в театральное был в тот год сумасшедший — кроме юноши своё финансовое положе-

ние мечтали поправить местные, приезжие, девочки-мальчишки, таланты и бездарности, с умением петь и способностью танцевать, а училище, товарищи, не резиновое.

Но он всё-таки поступил — на курс к Вадиму Николаеву, главрежу Свердловского телевидения. «Давреж», «помреж» (на театральном языке — «помрѣшь»), «худрук», «массовка» — язык посвящённого. Учился, конечно, «на артиста» — а как иначе. Массовка в Свердловском театре драмы — улица Вайнера, 10, сейчас там торговый центр (сейчас у нас везде — торговые центры). Боевое крещение: *кушать подано, извольте следовать за мной...* Множество мелких ролей, тысяча мелочей, из которых складывается судьба, — артистом, мама и папа, ваш сын обязательно станет артистом!

На последнем курсе Николаев доверил ему главную роль в телеспектакле «Вам слово, Андрей Скворцов!». Жаль, в Пресногорьковке тогда ещё не было телевизора — не смогли увидеть сына на экране... Ну ничего, впереди вся жизнь — дни бесконечны, ночи безмерны! Теперь он ходит по Свердловску как местный — но свысока смотрит не потому, что загордился, а просто потому, что выше всех на голову как минимум.

Открытый много, каждый день — новое, только успевай осознавать. У него чуткий слух и хорошая память от природы, он ловит чужие меткие выражения, думает, куда бы их пристроить, ну

жалъ ведь, если пропадут эти сокровища, прекрасные мелочи россыпью! Хоть сам пиши, честное слово... Вот возьму и напишу такой рассказ о деревенском мальчишке, который просит мать выдать ему сапоги — чтобы покататься на льду, а мать не соглашается...

Пресногорьковка, мама, по которой он так скучает, живая речь (а не та выпрениня, как в некоторых пьесах — люди не говорят такими словами, они общаются иначе!). Он и сам не заметил, как рассказ уже готов, называется «Склизко!». Но автору и в голову не приходит куда-то его показывать, отправлять в газеты или ещё куда: написал для себя, пусть лежит. И ещё готово несколько таких рассказов — может, пригодится для какой-нибудь роли.

Дни бесконечные, а годы летят — успевай пальцы загинать. Вот недавно они с отцом стояли на площади 1905 года, теперь же он приезжает сюда каждый день на работу — на репетиции. Училище окончено, только троих со всего курса пригласили в Театр драмы — он в этой тройке, и первая его роль — житомирский кузен Лариосик. Ларион Ларионович Суржанский, «Дни Турбиных»:

- Простите, пожалуйста, я наследил вам...
- А вот не будете ли вы добры дать мне кальсоны?
- Душевно вам признателен.

— Я, собственно, водки не пью.

Каждая сыгранная роль оставляет след в душе, борозду в памяти, зарубку на сердце, а в компанию к Лариосику вскоре добавляются Семён из «Флодов просвещения», Малахов из популярной пьесы Аграновского «Остановите Малахова!» — за эту роль ему дали приз Свердловского обкома комсомола. Триста рублей вручили! Как он был счастлив и горд! Купил себе «с премии» маленький чёрно-белый телевизор. И водку. В отличие от Лариосика, он «водки пьёт» — но артисты всегда пьют. Да и весь этот большой город, кажется, только тем и занят. Иначе тоска — и холод.

Толстой, Гоголь, Островский — ни отнять, ни прибавить, но современные пьесы чем дальше, тем чаще видятся ему надуманными, в прямом смысле слова — *не от мира сего*. Он, кажется, смог бы... Чем дальше, тем больше ему хочется увидеть сцену с другой стороны — глазами автора. У него-то все персонажи будут говорить нормальным человеческим языком. А историй он уже столько напридумывал! Вот, например, «Нелюдимо наше море» — рассказ о том, как старый барак с жильцами затопило и они не могут выйти из дому, вполне можно превратить в пьесу... Призвание — это, конечно, сильно сказано, но его правда будто призывали, а потом раздался голос за сценой. Всего одно слово — однокоренное, но совсем из другой оперы: «призыв». Служба в армии. Егоршино.

Пермь. Каменск-Уральский. Свердловск, тридцать второй военный городок. «Косить» тогда было не принято — страна сказала, вынь два года жизни да положь. Как все — так и ты...

Историй вокруг стало к тому времени столько, что они уже не то что в рассказы не умещались — им в душе было тесно. После дембеля вернулся в родной театр — там поджидали Бальзаминов и Поприщин, а дома, в коммуналке на Ленина, 46 — закадычники-собутыльники, артисты больших и малых академических театров. Пили. Играли. Спорили, как выражались тогда в газетах, «до хрипоты» — о том, как надо пить и не надо играть.

Вот, кстати, о газетах. Уже не вспомнить, как тот самый рассказ «Склизко!», про мальчика и сапоги, попал к писательнице Вере Кудрявцевой. По-настоящему хорошие писатели, они, как правило, щедрые — не ревнуют к чужим талантам, но тащат их к успеху изо всех сил. Вера Матвеевна отнесла рассказ артиста в редакцию газеты «Уральский рабочий», а там взяли и напечатали. Он узнал об этом случайно, в театре: прибежал на вахту, открыл газету и увидел свою фамилию. Да, Коля, да! И даже гонорар потом прислали — тридцать рублей. Ему-то казалось, люди сами должны платить, чтобы их рассказы в газетах печатали...

Рассказ хоть и назывался «Склизко!», но вывел его к надёжной дороге — не скользя, не падая,

опубликовал всё, что лежало в столе несколько лет. Даже в журнал «Урал» взяли два рассказа, правда, через губу заметили, что пишете вы, дескать, молодой человек, про *обочину жизни*. Но ведь и обочина может стать целой жизнью... В январе 1983 года он так осмелел, что отправил *подборку* (новая жизнь — новые слова) в Литературный институт, в Москву. А в коммуналке на Ленина, 46, всеми делами заправляла, к сожалению, водка. Про обочину жизни он писал с пугающим знанием дела, но в театре всё это благолепие терпели недолго — тогдашний главреж сказал ведущему-пьющему артисту: или сам уходи, или уволим по статье.

В таких случаях выбирают первое «или» — вот так он и остался без работы, без обожаемого театра, без будущего. Водка — лучший друг самоубийц, и он всерьёз думал о том, чтобы уйти из жизни, как ушёл из театра. Впоследствии Софья Карловна из пьесы «Амиго» будет говорить: «Я себе сделаю суицид, не верьте, что я своей смертью умерла, только суицидом». Прежде чем научишься над чем-то смеяться, нужно как следует об этом поплакать... Но в день его рождения над Пресногорьковкой стояли счастливые звёзды. Когда стало совсем нечем дышать, в почтовый ящик упало письмо из Москвы — вызов на экзамены в Литературный институт. Он занял денег на билет, приехал в столицу и поступил на заочное, к Вячеславу

Максимовичу Шугаеву. В приёмной комиссии заинтересовались:

— А почему артистом не хотите работать?

— Москву буду завоёвывать!

Москву он действительно завоюет — и не только Москву, но тогда всё это звучало, конечно, с вызовом. Вот так, с вызова — сразу в двух смыслах слова — и началась его настоящая жизнь.

Шесть лет учёбы, поездки на сессии, а между ними — работа, сначала в агитбригаде ДК имени Горького, потом в редакции многотиражки на заводе имени Калинина... На третьем курсе он написал свою первую пьесу — «Играем в фанты» (свердловский «Заводной апельсин», уральские «Вальсирующие»). «Не пишите пьесы, они у вас не получаются», — сказал ему отечески один преподаватель. Но «Играем в фанты» едва ли не сразу начали ставить — один театр, другой, и вот уже чуть ли не девяносто театров СССР хотят играть эту пьесу, потому что она была о настоящем, потому что герои там — живые и так их всех жалко, что зрители, не успев отсмеяться, начинали рыдать... «Мы — дети страшных лет России», — говорят со сцены, а в зале сидят такие же точно дети вот именно что страшных лет...

Это был 1988 год — две восьмёрки на счастье, — когда пьесу ставили по всей стране, и у него было столько денег, что можно не работать и не пить, потому что когда у тебя появляются боль-

шие деньги, то их, оказывается, жаль пропивать. Лучше — сочинять дальше, потому что истории, как выяснилось, не заканчиваются никогда.

3

Старика звали мягким именем Женя — по неизвестной причине именно это имя часто достаётся грозным мужчинам с деспотичным характером. Ей, конечно, и в голову не пришло бы обращаться к нему по имени, пока она всего лишь идёт следом за всей честной компанией — после вручения последней досочки, которая досталась той самой девочке с рыжей косой, артисты (а кто они ещё?) снялись с места и пошли вверх по проспекту. Она — за ними, на пионерском, как тогда говорилось, расстоянии. Пересекли улицу 8 Марта, покурили на Плотинке. С ними был мальчик, совсем юный — и две девушки, одна так прямо даже можно сказать, что красивая. К компании всё время подходили, здоровались, старик покрикивал на каждого так, что слышны были интонации, но не слова. По улице Малышева — налево, а потом — на Толмачёва, дом 5, до свидания.

Ещё даже не стемнело! Ей так хотелось зайти за ними следом, не прогонят ведь? Но вместо этого она развернулась — и пошла к троллейбусной остановке. Родители, наверное, волнуются.

Старика в шапке с бубенцами (или в вязаной повязке с перьями — по сезону) часто можно было встретить в троллейбусе — этот транспорт ему замечательно подходил. Во всех смыслах. Отдельное удовольствие — наблюдать за пассажирами, которым довелось делить вагон с таким чудой — лицо библейского пророка, пронзительный взгляд, одет как скоморох... В Москве на Арбате к поющей-играющей группе (общество «Картинник» — вот как они назывались) однажды подошёл турист-иностранец и сказал, торжествующе поправляя очки:

— Я знаю, кто вы! Ска-ра-мо-хи!

Конечно же, он не всегда был «скарамохом» — да и стариком, разумеется, тоже. Евгений Михайлович Малахин, благообразный советский инженер по кличке Старший гений, долгие годы честно прослужил на предприятии «Уралтехэнерго», часто выезжал в заграничные командировки — настраивать оборудование, чем в Свердловске могли похвастаться очень и очень немногие. Всем известные «люди в чёрном» хмурились над анкетой «скарамоха»: год рождения — 1938-й, место рождения — Иркутск. Родителей Евгения направили сюда из Киева, отец его тоже был инженером и уже через два месяца после прибытия на новое место работы был признан, по моде тех лет, «английским шпионом» (виновен в том, что знал английский язык). Спустя два месяца после ареста

отца забрали маму (она работала слесарем-лекальщиком) — грудной Женя и его пятилетний старший брат остались на руках у одиннадцатилетней сестры Октябрины... Спасибо соседке, приютившей осиротевшую троицу, — она смотрела за ними, пока не отпустили маму, отец же пробыл в заключении до 1941 года. Потом семья перебралась в Глазов, оттуда — в Сарапул, где отец стал главным инженером местного завода. В Сарапуле родители собрали хорошую библиотеку — третью по счёту, две предыдущие пропали при переезде и аресте. Любимые предметы Жени Малахина в школе — литература и математика. Актуальный для тех лет выбор между физикой и лирикой сделать было попросту невозможно, но всё-таки он окончил вначале Сарапульский радиотехникум, а затем — Ижевский механический институт. Получил красный (любимый цвет старика Букашкина) диплом инженера-энергетика — и уехал по распределению в город на реке Исети.

В 1961 году Свердловск был местом серым и мрачным. Тяжёлый, как чугун, нрав местных жителей выгодно подчёркивали погодно-климатические условия. Бывало, в тёплом сентябре едешь поездом из Москвы — и вся Россия за окнами вагона сияет золотом листьев, и нежный ветерок ласкает щёки.... А потом пересекаешь границу Свердловской области — и как будто проваливаешься в яму.

Здесь мало солнца, мало красок, холодный город-завод никого не *заводит*, но, кажется, ежечасно пьёт у тебя кровь через трубочку... И всё же именно этот город-вампир стал настоящей родиной инженера Малахина — здесь появится на свет его энергичный двойник-«скарамох»:

Шар — из точки,
Круг — из точки,
Линия — из точки,
А я — из Свердловска, точка!

Но подождём ставить точку! «Люди в чёрном», листающие личное дело Е.М. Малахина, известного как К.А. Кашкин и Б.У. Кашкин, не дошли ещё даже до середины, как и его жизнь... Вообще-то, у «людей в чёрном» был к бывшему инженеру особый интерес — он же вроде поэт, стихи пишет, так вот пусть и расскажет о своих коллегах! Жанр всем хорошо знакомый — дружеский донос, можно не в рифму.

Пришли к нему в мастерскую, в знаменитый на весь Свердловск подвал на Толмачёва — и давай вопросы задавать:

— А вот про такого-то что можете сказать? А про этого?

Бывший инженер и глазом не моргнул:

— Бездарность! И тот, и этот! Давайте я вам лучше свои стихи почитаю?

И почитал. И ещё почитал! Мало не показалось — не переслушать этого бывшего инженера! Он из каждого слова вытягивал целую связку ассоциаций, да всё с подвывертом, так что мозги начинали чесаться... Долго после того случая «люди в чёрном» обходили «букашник» широким кругом — но личное дело хозяина подвала изучать не бросили. Фотопортрет давних лет — красивое лицо, внимательные глаза, ни за что не поверишь, что это он, нынешний косматый чёрт с вечной беломориной, торчащей изо рта, как свисток.

Первое место работы Евгения Малахина в Свердловске — Завод имени Калинина, секретное предприятие, производство невыездных специалистов. Секретность для него — одежда не по размеру, поэтому на ЗИКе инженер не задерживается, переходит в «Уралтехэнерго» — организацию по ремонту электростанций. Работа как работа, жизнь как жизнь... Каждую неделю на проспекте Ленина, 54, проходят «музыкальные среды», и Малахин открывает для себя новую, музыкальную среду. Главный там — Пётр Ермолинский, известный свердловский меломан, идеальный собеседник, грамотный спорщик. Общаться с таким человеком — большое удовольствие, к тому же у Ермолинского три дочери... Вскоре Евгений начал встречаться с Валерией Ермолинской — гуляли по городу, разговаривали, держались за руки, но, прежде чем сде-

лать предложение, Малахин позвал её и ещё одну свою подружку тех лет в филармонию. Хотел убедиться в том, что не ошибся — потому что, если девушка зевает, слушая Малера, который, как известно, не умел писать коротко, какая уж там совместная жизнь... Отборочный матч Валерия выиграла с разгромным счётом, и хотя свердловские родители возмущались выбором дочери не меньше, чем сарапульские — выбором сына, молодые люди всё-таки поженились. В 1965 году сыграли свадьбу, через год родилась дочка Настя...

С дочерью Малахин гулял так: бегом через площадь 1905 года (ребёнок подпрыгивал в коляске, скачущей по брусчатке) в букинистический магазин на Вайнера, легендарную «буку». Вручал малышку продавщицам — и зависал перед книжными полками... Бука в «буке»!

Мещанский быт — ковёр, чашки в застеклённом шкафчике выложены гусеницей, лучи заходящего солнца отражаются в гранёном хрустале — тоже был ему не по размеру. Спасали книги и путешествия. В Москве однажды весь свой отпуск провёл в Ленинке, в Свердловске не вылезал из Белинки — читал философов, письма Толстого, перевозносил то Гоголя, то индийских мудрецов. Увлечения накатывали, как морские волны на берег, — и тут же отступали, прошумев. Сегодня он любит Малера, завтра клянётся в верности

Дюку Эллингтону... Сегодня цифры, завтра — буквы, сейчас — стихи, через час — математика.

«Это моё мнение, хотя сам я так не считаю», — сказал бы здесь старик Букашкин.

В личном деле ещё несколько страниц — оканчивается, бывший инженер объездил весь мир, «людям в чёрном» такая география могла разве что помститься. Командировки от предприятия во все города СССР, где имелись электростанции, — список-мечта, от Одессы до Владивостока. Одессу он полюбил страстно, ездил потом сюда чуть не каждое лето. С Валерией путешествовали по Европе и Африке — в 1971 году у них были Алжир, Канарские острова, Сьерра-Леоне, Сенегал, Мальта, Италия... Для рядового свердловчанина эти названия — всего лишь разноцветные лоскуты на политической карте мира, для Малахиных — живая земля. Германия, Румыния, Болгария, Северная Корея. Хорошо обставленный дом, жена в шёлковом халате, на работе ценят, в семье любят — да чтоб мы все так жили!

Тот, кто примеряет чужую удачу как одежду в дорогом магазине, не подозревает, как тяжело лежат на плечах мягкие лапы благополучия. Как душит постоянное тепло. Как сводит с ума размеренный век.

— Он сумасшедший? — интересуется младший из «людей в чёрном», пролистывая «дело», как книгу в поисках спрятанных купюр.

— Юродивый, — считает старший по званию.

Я — человек, я — голова.
Такой же, как все люди,
Я знаю, сколько дважды два
При умноженьи будет!

Список доступных хобби в СССР был не многим шире списка продуктов из корзины потребителя. Спортивный туризм, самодеятельность, выжигание по дереву и, конечно, фотография — у каждого второго в 70-х санузел освещал красный фонарь, а на бельевых прищепках подсыхали свежие снимки. Малахин увлёкся фотографией ещё в студенчестве — снимал всё подряд, потом забыл однажды бачок с плёнкой на печке — и в результате этой оплошности из обычных фотографий получились произведения абстрактного искусства. Вот это было да! С тех пор он варил негативы специально, осознанно заливал их кислотой, царапал гвоздями — в результате этих издевательств получались изображения, которых не могло существовать в природе: ни один человек, позировавший Малахину, не узнавал себя на фотографии. Позировали ему, кстати говоря, многие — как правило, дамы без одежды («Порнография? — размышляли «люди в чёрном». — Нет, не пройдёт, увидеть в этом женщину сможет только человек с очень богатой фантазией».) Нью-ню, проходите,

раздевайтесь! Работы, прозванные «фотографической» или «варёнками» (прямо как пресловутые джинсы, писк и пик моды 1988 года), участвовали в московской выставке «Фотохудожники Союза», слайд «Ковровочка» был отмечен на конкурсе в ЮАР.

Вываренная реальность этих снимков становилась выверенной — здесь, как на орской яшме, проступали космические пейзажи. Малахин говорил, что кадр должен быть случайным, но сам доверял не случаю, а эксперименту.

Так не умевший рисовать инженер превратился в художника, которому не хватало... слов. Он с детства привык выворачивать слова наизнанку, читать мысли великих людей задом наперед («Укитаметам ежу метаз тичу одан, отч ано му в кодряоп тидовирп»), мог по случаю зарифмовать поздравление. Стихи писал всю свою жизнь, вот только печатать их никто не спешил. Но в «Уралтехэнерго» словесную одарённость Малахина ценили — то заголовок к стенгазете доверят сочинить, то песню переделать по праздничному случаю...

Как-то раз, накануне очередной всенародной годовщины, листал Маяковского в поисках вдохновения и аж подпрыгнул, прочитав:

Единица — вздор,
Единица — ноль!

Такое откровение — кошмар для любого математика, технаря, инженера... Малахин придвинул к себе чистый листок:

Что-то — это не ЧТО-ТО,
т.к. это НЕЧТО,
т.е. НИЧТО,
а точнее — КОЕ-ЧТО-НИБУДЬ
или ТО, ЧТО НАДО...
НОЛЬ — это не НОЛЬ,
т.к. это ОДИН,
т.е. ДВА,
а точнее — ТРИ или ЧЕТЫРЕ.

Маяковский разбудил в Малахине поэта, поэт развернул абсурдистскую агитацию:

Строку о том, о сём строку,
И стих готов — ку-ка-ре-ку!

Вот так инженер Малахин молча собрал вещи — и вышел за дверь, уступив своё место панк-скомороху, художнику-перформансисту, отцу постсоветского стрит-арта, народному дворнику, певцу помоек — старику Букашкину. Вначале он, впрочем, действовал под псевдонимом Какий Акакиевич Кашкин — но его быстро стали называть сокращённым именем К.А. Кашкин, а это было по бла-

гозвучию. Бывший в употреблении Кашкин — Б.У. Кашкин впоследствии превратился в Букашкина, и это было правильно, потому что букашек старик воспевал регулярно:

Меня зовут Старик Букашкин,
Я всех про всех вас лю...
Букашки, мошки, таракашки
И аж крокоделю!

Вдохновение Букашкин черпал отовсюду — привязчивая строка эстрадного шлягера превращалась в поэму:

Какой панно, какой витраж,
Какой бульон, какой гуляш,
Какой батон, какой лаваш,
Какой цэ-два-аш-пять-о-аш,
Какой зерно, какой фураж,
Какой НИИспецстройдормаш,
Какой Гайдар, какой Аркаш,
Какая голубая чаш...

Многие считали, что товарищ инженер повредился умом. А сами посудите, если бородищу отпустил, одеваться стал не как советский человек и ещё, говорят, ушёл из дома, живёт в каком-то подвале на Толмачёва, у него там будто бы мастер-

ская, и он делает из разделочных досок чуть ли не иконы! И пишет, пишет, пишет свои стишки, и к нему прибивается со всего города неформальная молодёжь — и *пунки*, и *хаппи*, и музыканты из подозрительных групп распевают с ним странные куплеты! Сынок его (то ли от этой жены, то ли от другой) поёт звонким голоском:

Лошадка объелась гороху!
Раздулись бока — ей плохо!
Слезами наполнились очи,
Мне жаль бедолагу очень!

И ребёнок делает это вместо того чтобы собирать металлолом и участвовать в жизни школы! Не дай нам Бог, как говорится, сойти с ума, глубочайшие соблезнования близким...

Когда вышел антиалкогольный указ 1985-го, Букашкин откликнулся на него целой серией двустиший:

«Я не пью, не пьёшь и ты.
Наши дети как цветы!»

«Чем помногу выпивать,
Лучше уголь добывать!»

«Был красивый пуловер...
Де он? Пропил, изувер».

«Посмотрите, как сейчас алкоголика ломает,
Вышел вовремя приказ от шестнадцатого мая».

Не печатают — и ладно. Будем петь, читать, голо-
сить, делиться — нам не дано предугадать, как
слово наше отзовется. И всё же публикация для
поэта важнее, чем он готов в этом признаться. По-
этому те кухонные доски, из которых Букашкин
делал прежде супрематические (именно так) ико-
ны, стали превращаться в книги — картинка-ил-
люстрация и пара строчек яркими буквами.

Искусство не должно приносить художнику
выгоду, лучше — если пользу людям. Букашкин
моментально оброс единомышленниками — му-
зыканты, художники, студенты быстро выгучили
дорогу в подвал на Толмачёва, который он понача-
лу делил с коллегой, а потом заправлял там едино-
властно. Гостям не давали расслабиться, каждому
вручались краски и досочка, загрунтованная жела-
тином:

— Давай рисуй! Ну и что, если не умеешь, —
никто не умеет, а ты рисуй! И пой! Играй!

Девочка в варёных джинсах несколько меся-
цев ходила по следам за обществом «Картин-
ник» — так Букашкин назвал свой выездной худо-
жественный салон, гастролирующий вначале по
Свердловску, а потом — по всей стране. Почётные
гости рок-фестивалей, звёзды фойе, артисты пе-
шиходных зон...

На Пале-Рояле, Арбате, Плотинке,
Рулетке, в Тюмени пестреют картинки
Там бьётся за мир,
Воспевая горох,
Смешной настоящий живой скоморох!

Только в сентябре она решилась наконец толкнуть дверь в захламлённый подвал. Никто не удивился, а старик тут же крикнул:

— Проходи, раздевайся, ложись!

Она тут же вспыхнула, как будто её взяли за волосы — и подождли, но тут Букашкин гостеприимно продолжил:

— Вставай, одевайся, уходи!

И вручил ей краски. И выдал досочку — с текстом:

Без тебя я мерин сивый,
А с тобою — мэр красивый!

(Однажды в городе действительно появится красивый мэр — Бука знал об этом заранее.)

4

«Солнце русской драматургии» — сказал о нём кто-то всерьёз или в шутку. Для него, впрочем, шутка и всерьёз — как тот двусторонний пуховик,

который вдруг появился у каждого в театре. Наставляя юных пьесописов, он говорит, что если в первом действии зрители смеются, а во втором плачут, значит, у них всё получилось. А если нет — пишите сначала. Солнце русской драматургии — сокращённо СРД, так он подписывает свои первые книги, сборники пьес.

Когда старик Букашкин бродил по Екатеринбург в фуфайке с надписью «*I am a great Russian poet*», его многие спрашивали: «Зачем это?» — и получали ответ:

— Иначе не поймут!

Пьесы наш герой пишет ровно как заведённый. «Рогатка», «Мурлин Мурло», «Сказка о мёртвой царевне»... Пьесы — как дети, рождаешь их в муках, выводишь в свет, а они потом радуют тебя, кормят, помогают, не дают поверить, что жизнь прожита зря... «Рогатку» он повёз на семинар драматургов в Пицунду — и только ленивый его не разругал, не раскритиковал. Лишь одна Людмила Улицкая, никому тогда ещё не известная, сказала:

— Коля, не слушай никого! Можешь спокойно помирать, потому что главную пьесу в своей жизни ты уже написал.

Ну, насчёт «помирать» она, конечно, погорячилась. Хотя о смерти он думает так же часто, как герой всех его пьес: там если не похороны, так поминки, если не убийство, так самоубийство...

В пьесе «Играем в фанты» каждая тварь дрожащая имела право. В «Рогатке» жизнь измерилась любовью — пусть и не такой, с какой привыкли иметь дело участники драматургического семинара. 1989 год — Роман Виктюк поставил спектакль по «Рогатке», 1990 год — Галина Волчек вывела «Мурлин Мурло» на сцену «Современника». О его пьесах пишут серьёзные литературоведческие работы: обсуждают мениппею, «максимальное обнажение физиологического остова словесной семантики», драматургический дискурс. Пьесы разлетелись по всему миру — Италия, Швеция, Германия, Австралия. На разных языках играют артисты, на одном и том же — смеётся и плачет зритель.

Теперь наш герой много путешествует, получает стипендии — живёт подолгу в Европе, играет в гамбургском театре по гамбургскому счёту роль Антона Павловича Чехова. Земной шар оказался не таким уж и большим — вчера Пресногорьковка, сегодня Уругвай и Аргентина, и всюду жизнь, и хотя люди, конечно, разные, но чувства у них — одинаковые. Объездив весь белый свет, раскрасив его живыми впечатлениями — как контурную карту на уроке географии, — он понял, что нет города лучше Екатеринбурга — ни в Уругвае, ни в Австралии, ни в Германии. И что работать надо там, где холодно.

В 1993 году на площади 1905 года стоял высокий молодой человек — ну ладно, уже не очень молодой. Первое занятие на курсе будущих драматургов театрального института начнётся через полчаса — бывший студент ударится оземь и станет преподавателем. Солнце русской драматургии взойдёт для молодых да ранних — и будет всходить каждый день. Светить всегда, светить везде — то есть не жадничать, не скрывать секретов, учить, ругать, критиковать, радоваться чужим успехам, как своим: что ж, у него обнаружился ещё и этот талант. Скоро театральная критика начнёт взволнованно рассуждать о появлении «уральской драматургической школы» — из этого гнезда вылетят Василий Сигарев, Олег Богаев, Ярослава Пулинович... Сам он тем временем присматривается к новой роли — артист, прозаик, драматург и преподаватель сдвинулись к краешку, чтобы освободить место режиссёру. Роль сядет, как влитая! Как те тубетейки, которые он теперь носит, — во-первых, красиво, во-вторых, скрывают неизбежные потери. Екатеринбургцы реагируют на его тубетейки по-разному: кто улыбается, кто с пониманием кивает, а один торговец на рынке сделал ему недавно большую скидку — *потому что мусульман!*

Пьесы, студенты, его собственные спектакли в Театре драмы — «Полонез Огинского», «Корабль

дураков», «Куриная слепота», «Уйди-уйди»... Критики получили возможность сравнивать драматурга с режиссёром и артистом, описывая одного и того же человека, — и это ещё не всё о нём.

В 1994 году в Екатеринбурге прошёл фестиваль, названный в его честь — «Коляда PLAYS». Восемнадцать театров, российских и зарубежных, привезли на Урал спектакли по его пьесам. И так будет отныне каждый год. Ведущий авторской программы «Чёрная касса» на Свердловском телевидении. Главный редактор литературного журнала «Урал» — когда он занял этот будто бы почётный пост, долго не мог найти ни слов, ни денег: всё пришлось делать, как всегда, самому. Ремонт помещений, непригодных для обитания, погрузка журналов в машину — сам. Развезти по киоскам — сам. Искать новых авторов — ну, это тем более сам.

Однажды, как тот петух, навозну кучу разрывая, откопал среди рукописей, присланных в редакцию (тех самых, что *не рецензируются и не возвращаются*), рассказ, подписанный женским именем. Хороший рассказ, будем печатать!

Вот так девочка, ходившая в 1988 году по пятам за «Картинником», стала писателем.

По чистой случайности происходят только неслучайные вещи. «А пьесы вы писать не пробовали?» Николаю Коляде кажется, что все могут писать пьесы — и вот уже молодая писательница за-

является к нему на занятия, на тот самый курс драматургов, где среди прочих сидит, по-мальчишески прикрыв щеку ладонью, Василий Сигарев. Ровно через пять минут он станет знаменитым.

— Сегодня я прочитаю пьесу, которую сочинил один из вас, — буднично говорит Николай Коляда. — Она будет называться «Пластилин».

Вообще-то, у Сигарева было другое название, но Коляде виднее.

— Эта пьеса, — продолжает Коляда. — станет событием, и её будут ставить во всех театрах мира.

Писательница думает, ну прямо уж так-таки во всех! Краска разливается по щекам будущей знаменитости. А после чтения уже никто ни в чём не сомневается... Ни одногруппники Сигарева, ни он сам в своём успехе, ни вольнослушательница.

В Екатеринбурге, как в любом другом городе, за эти годы случилось много такого, что может стать романом — или пьесой. Это ведь только кажется, что города стоят на месте. И что люди не меняются. И что испытание медными трубами проходит легче и приятнее, чем огненно-водные процедуры. Медными трубами по голове — не пробовали?

«У этого Коляды всё одинаковое». «Чернуха». «Балаган». «Самодетельность». «Зачем у него артисты так громко орут?» «Мне этой грязи и в жизни хватает, а в театре хотелось бы чего-то более приятного». «Вы бы хоть предупреждали, что

у вас матерятся и курят на сцене, я, между прочим, с ребёнком пришла». «Надо запретить такое ставить, театр — это место для красоты, а не для этого ужаса». «Я проплакала весь спектакль от первой до последней минуты, а вообще-то я не плакала уже три года. Спасибо!» «Вы гений, не уезжайте из города!». «Амиго» — это про меня». «Персидская сирень» — это про меня». «Полонез Огинского» — это про меня». «Откуда вы всё это знаете?!»

Лёгкий нрав, умение договариваться и сохранять добрые отношения — это не про Коляду. Энергия созидания не имеет ничего общего с ласковыми лучами солнышка, сколь угодно рисуй его на титульных листах книжек (а у него вышло много книг, он их уже не считает). Он ругается с начальством и орёт на артистов, добиваясь одному ему известного результата. Из театра драмы вскоре придётся уйти — чтобы начать всё заново (только бы не начать снова пить!), тем более сейчас он хорошо представляет себе, что и как начинать.

Буратино хотел подарить папе Карло новую куртку, а подарил — театр. У Николая Коляды нет знакомых Буратин — сплошные Карабасы-Барабасы, но театр ему нужен не меньше, чем папе Карло, неужели *в городе* этого не понимают? Ну хоть какое-нибудь помещение, пусть даже самое завалившее? Нарисую солнышко, подберу монетку на улице, буду улыбаться-улыбаться-улыбаться, го-

ворить «спасибо» и «пожалуйста», сочиню ещё сто тысяч пьес к уже готовым восьмидесяти, обучу мильён студентов, заработаю денег для «Урала», а в свободное время буду обустроивать это помещение, да хоть бы подвал, что, в Екатеринбурге не осталось свободных подвалов?! Ах, какой бы он сделал театр — сам бы всё сделал, он всё умеет, зря, что ли, столько лет прожил? Самое главное у него уже есть — он сам, его пьесы, артисты, которые пойдут за ним в огонь-воду, готовые получить медными трубами по голове — контрольный удар. Олег Ягодин — кажется, типичный характерный актёр, в котором скрывается главный герой-любовник-отверженный-подонок-спаситель. Гамлета он у меня будет играть, слышите, Гамлета! Красавица Ирина Ермолова, о которой есть ещё много чего сказать помимо того, что она красавица, — все его несчастные тётки из пьес, одинокие, не то что недолюбленные — вообще ни разу не любленные — это она! Да всё что угодно сыграет — хоть проститутку с бланшем, хоть Бланш Дюбуа! Будут её называть у меня — Блянш...

Кажется, ну вот что ему ещё нужно, если и так уже всё есть? Бывшие коллеги от зависти грызут по ночам свои почётные грамоты. Деньги, слава, признание, любовь зрителей и ненависть критиков. Пьесы пишет как из пулемёта, и там и сям лауреат, почётный деятель, призовые статуэтки, наверное, некуда складывать!

Чужой успех — как чужая жена. Наверняка ничего не знаешь, проверить затруднительно, но от зависти скулы сводит. Ещё и театр ему. Щас!

Но ведь какими трудами, боже мой, всё доставалось... Ничего не дали просто так, всё приходилось зарабатывать, отбирать у судьбы, сидеть с совиными глазами перед чистым листом бумаги — жутким, как смерть. Удача то поманит, то к чёрту пошлёт, то любит, то не любит...

Вот если бы у него был свой театр, звонок не трубил бы там рассерженным голосом, а играл бы мелодию «Пусть всегда будет солнце!».

Ему бы здание — ах, какой бы он сделал театр! Ни одной мелочи не забудет — театр начнётся с вешалки, билетов, уютного фойе, самовара для зрителей, звонков к началу... Бог в деталях, чёрт в мелочах — кому молиться, кому жаловаться на то, что театр всё никак не начинается? Языческому богу-однофамильцу — Коляде?

И вот уже добрейший папа Карло на глазах превращается в Карабаса-Барабаса, но лишних зданий в городе по-прежнему нет. Для вас, Николай Владимирович, нет.

В Екатеринбурге царит строительный разгул — новые здания, блескучие небоскрёбы вырастают за спиной у трогательных двухэтажных особнячков. Угрожающе сопят, готовятся дать пинка — прошло ваше время, освободите площадь! Жителям нужны торговые центры в шаго-

вой доступности — шаг вправо, шаг влево, и что-бы всюду торговые центры.

Четвёртого декабря 2001 года, в свой день рождения, он получает документы Некоммерческого партнёрства «Коляда-Театр». Невеста без места, театр — без вешалок и собственного помещения, зато с репертуаром, артистами и зрителями. Сначала Коляда ставит спектакли в Театре драмы, потом на сцене Малого драматического театра «Театрон». Впервые прикасается к классической драматургии, точнее, хватает классическую драматургию за шкуру и трясёт, пока из неё не высыплются один за другим все штампы, пока не выветрится пафос... Шекспир, Ажар, обожаемые Чехов и Теннесси Уильямс — наряды для артистов покупаются на вещевых рынках, декорации складываются из тысячи мелочей. Пробки от бутылок, говяжьи кости, дешёвые репродукции всем известных картин, мещанские коврики, какие-то тряпки, утильсырьё, мусор! Как здесь не вспомнить «теорию помойки» старика Букашкина — «авангардисты-постмодернисты хотят из музея помойку сделать, а мы из помойки — музей!». «Картинник» под руководством панка-скомороха раскрашивал серые мусорные ящики (главный лозунг — «На помойку — с чистой совестью!»), Коляда превращал театральную сцену в царство будто бы ненужных предметов, каждый из которых имел свой смысл и предназначение.

Как режиссёр он безжалостнее драматурга. Актёры на сцене и зрители в зале на каждом спектакле несутся навстречу друг другу, как поезда из школьного учебника: поезда, у которых отказали тормоза. Столкновение, удар, и, я извиняюсь, всё-таки катарсис.

Вначале зрителей оглушают — гремющей музыкой, топотом, грохотом, хоровым пением, криками ворон, собачьим лаем... Артисты выходят почти как цирковые — на парад. Маршируют, танцуют, гримасничают, кривляются, прыгают, как черти на сковородке! (Никакого уважения к храму искусств, к почтенным театральным авторитетам, которых от этих колядок скручивает в дугу!)

Потом начинается действие — и зрители смеются, потому что это очень смешно — смотреть на себя со стороны. Некоторые хохочут так, что слёзы из глаз... И вот когда все уже плачут от смеха, начинается драма, а может быть, даже трагедия. Зритель оглушён и ослеплён, обезоружен смехом — тёплый и доверчивый человек в тёмном зале вдруг получает прямой удар в область души.

Некоторые не выдерживают — уходят после антракта.

Остальные (их большинство) занимают очередь в кассу — купить билет на следующий спектакль.

Для своего театра Коляда готов на всё — идеи рождаются одна за другой. На сцене «Театрона» он

впервые устраивает «Суп-Театр» — переосмысленный ужин в каморке папы Карло, тайная вечеря с капустником. Варит суп, усаживает зрителей на сцену — древняя формула «Хлеба и зрелищ!» превращается в живую метафору. Проводит конкурс драматургов «Евразия» — со временем это будет Самый Серьёзный Драматургический Конкурс страны, он в этом не сомневается, как и в том, что у театра однажды появится собственное здание. У Коляды лёгкая рука — всё им придуманное живёт, цветёт и приносит плоды. Жаль, что некоторых плодов приходится ждать так долго...

В мае 2004 года с Колядой Н.В. заключают договор на три года аренды — город расщедрился, выделив частному театру Солнца Русской Драматургии подвал (а как иначе?) Краеведческого музея на проспекте Ленина. Если встать лицом, слева — легендарная гостиница «Исеть», памятник конструктивизма. Справа — памятник маршалу Жукову на очень хорошо оснащённом коне (женщины стараются не смотреть, но всё равно обязательно смотрят). А прямо — вход в театр.

Боже, как он счастлив! Свой собственный театр на целых три года — да он!.. Да мы!.. Да что тут говорить, если делать надо... В подвале воды по колено, нет ни света, ни тепла. Нужно вывозить мусор, строить сцену, ставить кресла для зрителей. В единственный выходной лететь на старенькой машине в Пресногорьковку, рассказывать

родным о том, что у него теперь, подумайте только, есть свой театр. Мама качает головой — ты, сынок, этот халатними, а то все наши подумают, что тебе носить нечего. Только это не халат — пальто вельветовое, модное! Ну да разве в этом дело... Пусть родные ничего не понимают, всё равно они рады, что младший пробился, в люди вышел, директором театра будет работать!

Директор, хозяин, режиссёр, драматург, артист — редко, но выходит на сцену. Ставит спектакли по своим новым пьесам — «Кармен жива», «Птица Феникс», «Ревизор», «Тутанхамон», «Амиго», «Нежность», а ещё по пьесам своих учеников — «Чёрное молоко» знаменитого Сигарева, «Клаустрофобия» Костенко. Превращает всем известные сказки — «Карлсона», «Хоттабыча», «Золушку» — в постановки для аудитории дошкольного возраста. Зимой играют новогодние колядки — артистам денег заработать, имя оправдать! Тогда же появляются «Театр в бойлерной», где актёры читают пьесы молодых драматургов, «Кино-Коляда» — через дорогу, в здании киностудии, показывают старые свердловские фильмы, «Колядаскоп» — раскрашенная будка перед театром, где куклы разговаривают с детьми и дарят им звёздочку для исполнения желаний.

Что касается желаний самого Николая Коляды — то пусть всегда будет солнце, пусть всё оста-

нется так, как сейчас, когда свободных мест в зале нет, и речь идёт о гастролях, и пишутся новые пьесы.

Hélas! Человек предполагает, а город — располагает. Располагает жилищным фондом и строго следит за сроком соблюдения аренды. Три года прошло — выметайтесь. Собирайте свои коврики и пробки, фальшивые медвежьи шкуры и кабанью голову, баночки от кошачьих консервов, звёздочки, которые исполняют желания, и прочую мишуру, не имеющую отношения к высокому искусству (оно — дальше по проспекту Ленина, слева опера, справа — музкомедия).

Наверное, им предложат взамен что-то другое, правда же? Ничего подобного, просто — выметайтесь. Никому нет дела до чуда рождения спектакля, когда делаешь один шаг вперёд, три назад и снова нащупываешь, отыскиваешь единственное верное решение, которому поверят зрители... Нет дела до немецкой туристки, которую будущая писательница привела на спектакль «Ревизор», — немка плакала в фойе навзрыд:

— Теперь я поняла русскую трагедию! Женщина всегда работает, мужчина всегда пьяный!

Нет дела до того, что всё в своём театре Коляда делал на собственные деньги — то, что приносили ему пьесы, тут же уходило сюда. Ни спонсоров, ни помощи, ни даже обещаний.

Суды, захват здания, баррикады, ОМОН, ультиматумы, угрозы, а параллельно с этим — первые успешные гастролы в Москве.

— Мы с вами ещё и в Париже играть будем! — грозился Коляда.

Будут. Спустя несколько лет «Гамлет» в театре «Одеон» на левом берегу пройдёт с триумфальным успехом, при аншлагах и аплодисментах. Тот самый «Гамлет», где вместо жалкого черепка Йорика из рук Олега Ягодина падает целая груда костей животного происхождения (как их перевозили через таможню — отдельная история). Быть или не быть театру, который, как выяснилось, совсем не нужен городу (в отличие от свободного подвала на проспекте Ленина)?

Четырнадцатого июля 2006 года, в день взятия Бастилии, в театре устроили показательный погром — выходы заколочены, окна закрашены белой краской, сцена сломана, и всюду таблички: «Ремонт». Спустя четыре дня артистам разрешили забрать из театра личные вещи — и когда они увидели, во что превратился их дом, то объявили голодовку.

Через сутки город сдался. Арбитражный суд запретил новым арендаторам выселять «Коляда-Театр» до рассмотрения дела в суде. Четвёртого августа Коляда Н.В. получил ключи от деревянного дома XIX века на улице Тургенева. Если встать ли-

цом, слева будет Вознесенский собор, а справа — улица Первомайская.

Новое помещение театра оказалось ещё запущеннее прежнего, но ведь это наше, своё! Да я... Да мы... И *да капо*.*

В Екатеринбурге это здание прозвали «избушкой Коляды». Заходишь внутрь — и попадаешь к кому-то в гости. В фойе стоят старинные буфеты и честные зеркала, громадный обшарпанный глобус, пишущие машинки, стены завешены вышивками и картинами... Зал крохотный, вентиляция плохая — но это всё мелочи, зрители приходят сюда каждый вечер, студенты толпятся в проходах... В репертуаре — «Гамлет», «Король Лир», «Женитьба», «Безымянная звезда», «Трамвай “Желание”», новые пьесы Коляды и его учеников. Годы несутся, Коляде уже пятьдесят. Его узнают на улицах и в честь юбилея предлагают выпустить почтовый конверт с портретом.

— И обязательно напишите: «Ура, мне пятьдесят!», — предлагает юбиляр.

Журнал «Урал» возглавляет теперь его бывший ученик Олег Богаев, жизнь по-прежнему состоит из тысячи важных мелочей, и всё, что происходит с ним наяву, следует прямым в пьесы, а оттуда — на сцену. Олег Ягодин, Ирина Ермолова, не-

* *da capo* — с начала (музыкальный термин) (лат.).

сколько других артистов получают премии «Золотая Маска», «Браво!» и звание заслуженных. Гастроли, фестивали, киносъёмки...

Лишь в 2014 году, уже будучи признанным во всём мире, «Коляда-Театр» наконец получает новое — настоящее! — здание. Бывший кинотеатр «Искра» на проспекте Ленина. Два зала — Малахитовый и Гранатовый, гардероб и даже буфет, где работают не занятые на сцене артисты.

Горят оранжевые буквы вывески «Коляда-Театр». Зрители заходят в зал под мелодию песни «Пусть всегда будет солнце!». Ровно через пять минут их оглушат, ослепят, рассмешат — и разобьют сердце, потому что все истинные чувства начинаются с боли.

5

Старик Букашкин исполнял собственные песни под аккомпанемент балалайки, не зная нот. Стал самым известным уличным художником Свердловска, не умея рисовать (доски, росписи, фрески создавались единомышленниками — по его указу и под строгим присмотром). Не будучи признанным поэтом, превратился в автора с высоким индексом цитирования... Все его прорывы начинались с отрицательной частицы «не». Преуспевающий инженер с завидной карьерой бросил всё,

что имел, — и устроился дворником по месту бывшей службы, а когда его выгнали из подвала-мастерской, разрисовывал помойные ящики Екатеринбурга.

Николай Коляда шёл по направлению «в точности до наоборот»: выучился на артиста, получил диплом профессионального литератора, стал педагогом, режиссёром и директором театра.

Знакомы они не были, ходили по разным улицам Екатеринбурга — и даже оказавшись в очередной 1905-й раз на площади 1905 года, Солнце Русской Драматургии разминулось с Великим Русским поэтом.

Букашкин собирал грибы рядом с Оперным театром и варил из них в мастерской супчики. Тем же вечером Коляда ставил на плиту громадную кастрюлю с борщом для «Суп-Театра». Мастерская на Толмачёва была заставлена и завалена бесценным хламом, точно как реквизиторские в избушке на Тургенева. Шапка с бубенцами съезжала на лоб Букашкина, Коляда поправлял тубейку. Девяносто пьес и пять тысяч стихов... Журналисты ходили по пятам за тем и за другим — самый модный вопрос сезона: «А вот лично вы в Бога верите?»

— Все в Бога верят, — сказал Букашкин.

— А ведь Бог есть, Жанна, есть, доча... Я думала — нету, и вдруг поняла — а ведь есть. Вот я умираю, он меня забирает, потому что он знает, что

мне нельзя сначала начинать, уезжать, понимаешь? — говорит Коляда устами одной своей героини.

Букашкин болел астмой, в последние годы жизни он сильно сдал — ходил даже не с одной тросточкой, а с двумя. Знаменитая борода поседела, и теперь он был похож не на библейского пророка, но, скорее, на мудрого монастырского старца из тех, к которым так просто не попадёшь, судьбу не узнаешь. И надо ли её знать, судьбу?

С достоинством нести хочу своё ничто —
Чтобы встречаемый в пути подумать мог:
А что?
Жест — во!

Время от времени Букашкин возвращался к любимой математике, решая с внуком задачки, — и так увлекался, что объявлял о возвращении технической музыки. А незадолго до смерти скормороха научили набирать эсэмэс-сообщения — и он отправлял друзьям-знакомым, прежним своим «картинникам» рифмованные приветствия. Одно такое сообщение пришло адресату — Эдуарду Поленцу — через две недели после похорон Букашкина:

ТВОЙ НЕПРИХОД, ПУСТЬ БЕЗ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ,
ПОВОДОМ БУДЕТ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ!

Те, кто разрисовывал досочки и пел в сквере у Пассажа, неизбежно отделились от Букашкина — как взрослые дети, покидающие родителей. Это и понятно — не будешь ведь всю жизнь играть на балалайке! Букашкин — свердловский Питер Пэн и Капитан Крюк в одном лице — не обижался, но чувствовал, что повзрослевшему, точнее — заматеревшему, сытому городу он больше вроде как и не нужен. Журналисты теперь спрашивали у него другое:

— Правда, что вы самый известный в городе бомж?

— Я совершенно не бомж, — объяснял Букашкин, — я, скорее, бич.

Как жизнь ни изуродует нам лица,
Они прекрасны, если веселиться.

О смерти Бука писал так же часто, как о жизни:

«Все живут на белом свете,
Потому что белый свет,
Все живут на белом свете,
Все...
А я вот больше нет...»

«Утром каждым счастлив я —
Жив опять, привет, друзья!
До чего же хорошо —
Жизнь прожил и жив ещё!»

«У всех, естественно, есть тайны,
Другим которых не доверишь;
А честно если говорить,
И у меня такая тайна есть...
А если бы она была не тайной,
То я бы выразил её примерно так:
“И вроде бы живой, а жить хочу”».

«Живу, пока живётся,
А если и умру,
То полностью и весь
И знать о том не буду...»

«Я жить хочу ещё так долго,
Пока-пока-пока-пока,
Пока зовётся Волгой Волга,
Великорусская река!»

Желанной долгой жизни Букашкину не досталось — в 2005 году, в возрасте шестидесяти пяти лет, он умер в квартире жены, на руках у внука. Последние слова его были удивлённые: «Я умираю?» Ихъ штербе...

Похоронили старика Букашкина в одной могиле с инженером Малахиным — на Ширококореченском кладбище. Суровый серый памятник из габбро — а на нём разноцветные буквы — БУКАШКИН.

В 2000 году снесли дом, где хранился архив скомороха, кое-что успели вывезти, но бóльшая

часть оказалась погребена под новым зданием банка (банков у нас не меньше, чем торговых центров). Фрески на помойных ящиках, гаражах и трансформаторных будках поблёкли от времени, закрашены, смыты... Непостижима скорость, с которой забывают ушедших те, кто остался в живых, — эту скорость не рассчитает даже самый одарённый математик.

Но только не в том случае, если речь идёт о старике Букашкине!

В память о нём бывшие «картинники» расписали дворы на Ленина, 5.

Доски с картинками перекочевали в музейные собрания и частные коллекции.

Александр Шабуров — бывший «менеджер» «Картинника», а ныне — известный художник — издал монографию о Буке. Катя Шолохова — муза и подруга — написала чудесные воспоминания. В университете открылся, подумать только, Музей Б.У. Кашкина, а профессор, доктор филологических наук В.В. Блажес посвятил его творчеству научную статью, где подробно объяснил и доказал: Букашкин никакой не скоморох! Он — балагур!

Критики начали рассуждать о том, что Букашкин мог стать известным детским поэтом, проводили параллели с обэриутами и Приговым. Заявляли, что у него есть настоящие шедевры:

Не зря Ульянов, в скобках Ленин
(Н. Крупская — его жена),
Не ведая ни сна, ни лени,
Садил детей колени на...
Когда на Ленинских горах
Они по вечерам сидели,
Когда на будущее — ах! —
Они без усталости глядели...
Когда Людвиг вокруг звучал —
Соната, номер двадцать третий, —
Их ум в грядущем различал
Ритм марширующих столетий,
Чьи дети, ножек не жалея,
Идут ко входу Мавзолея.

«Скарамох» Букашкин игнорировал правила и заново изобретал действительность. Сейчас сказали бы — дауншифтер, но тогда таких слов не знали, как и многих других, непременно вдохновивших бы старика на новые вирши. А какой была бы его страница на фейсбуке (обязательно была бы!) — можно только мечтать.

Самое главное — мечтать. Мечты обязательно исполняются — жаль, что чаще всего после смерти.

Летом 2015 года бесконечностью уже и не пахнет — все вокруг готовится не то к началу войны, не то к концу света. Великая трагедия — и великое счастье человека в том, что годы меняют только его внешность: разрисовывают лица морщина-

ми, как досочки — красками, ссутуливают плечи, отбирают молодость, но внутри мы всё те же, какими были в шестнадцать лет.

Кем они были, Коляда и Букашкин, для той давнишней девочки, которая преследовала «Картинник» и, жмурясь от страха, ждала ответ из редакции «Урала»?

Кем они стали для меня?

Постоять на разрушенных ступеньках ДК имени Свердлова — потом пройти через площадь 1905 года, стараясь не смотреть на новый «Пассаж». Пересечь улицу 8 Марта, спуститься к Плотинке и вспомнить, как это было страшно — впервые прикоснуться кистью к доске.

Слева — музкомедия, справа — оперный, вверх по проспекту — мой любимый «Коляда-Театр». Сегодня играют «Амиго». Николай Коляда сияет как солнце, подписывая программки.

Зрители будут вначале смеяться, потом — плакать, после чего им разобьют сердце и, на прощанье, скажут со сцены главные слова:

— Думайте о радости, только она остаётся, только она одна, слышите?!

А больше и нет ничего, кроме радости.

Разве что тысяча важных мелочей.



ВЕСЁЛЫЙ БОГ РАБОТЫ

- 1, 3 Белла Дижур — муза поэта, мать скульптора
2, 4, 5 Эрнст Неизвестный — мастер, вернувшийся с того света

1

Когда показали ребёнка, она заплакала — носик у малыша был свёрнут набок. В буквальном смысле слова лежал на щёчке. «А если такой и останется?!»

— Это потому, что я спала на животе? — не оставляла в покое врачей, покуда сердобольная медсестра не присоветовала:

— Поглаживай в другую сторону — выправится.

Так и произошло. Вылепила, как скульптор, новый носик.

Муж был в отъезде, увидел сына только через два месяца — и она первым делом спросила:

— Ничего особенного в нём не замечаешь?

— Замечаю, — улыбнулся Иосиф. — Отличный парень!

Шёл двадцать шестой год века и лишь двадцать третий — её собственной жизни. В сказках

живут по сто лет, но и у них в семье были долгожители. Например, та старая родственница, к которой её водили в гости ещё на Украине: спрашивали, если бабушка старше тебя на сто лет, а тебе пять, посчитай, сколько исполняется бабушке? Она бойко отвечала: сто пять! И не удивлялась — как будто так и должно быть, чтоб дольше века длилась жизнь.

Сейчас, убаюкивая малыша, она смотрела в окно свердловской квартиры и вспоминала другой свой любимый город — Ленинград. Новый век привольно тасовал людей и города, хотя, впрочем, в её случае благодарить нужно было не век, а... железную дорогу. Самые важные для неё вещи по какой-то причине были связаны с поездами, да и жить она станет впоследствии в Железнодорожном районе — вот и гадай, случайно или нет.

Родилась она в Киевской губернии — в селе Белозёрье близ Черкасс. Отец работал на строительстве железных дорог (они появились в её судьбе задолго до рождения) на Урале и дома бывал лишь наездами. Но когда началась война, оставлять семью без присмотра стало опасно — поэтому в 1914 году отец перевёз всех своих в Екатеринбург. Это был первый большой город в её маленькой жизни: правда, на главной площади уже не стоял Богоявленский собор, да и памятник Александру II убрали с постамента и отта-

щили к набережной городского пруда. Царь лежал на спине, как надгробная статуя, а на чугунном теле без всякого почтения сидели гуляки: кто курил, кто любовался закатом, — почему бы и нет? Говорили, что потом царя сбросили в пруд, — она не могла сказать точно, было такое или нет. Вскоре на месте свергнутого императора появилась беломраморная мужская фигура — памятник *Освобождённому труду*. В некотором смысле — родной внук императору-освободителю, но среди горожан новую статую прозвали без затей — Ванька Голый. А ведь прекрасная была статуя, выразительная, полная своеобразия... Всего лишь часть грандиозного замысла: «Освобождённый труд» представлял одного из сбросивших цепи рабов, которые должны были окружать фигуру Карла Маркса. Выдающийся скульптор Эрзя просто не успел воплотить ту идею в жизнь — ему пришлось покинуть вначале Свердловск, потом Россию, а когда он в конце концов вернулся на родину, то занимали его уже совсем иные образы...

Степан Дмитриевич Эрзя имел фамилию Нефёдов — псевдоним же свой взял в честь этнической группы, принадлежностью к которой гордился. Усы и хмурый лоб придавали ему сходство не то с Горьким, не то с Ницше, а характером ваятель был изрядный оригинал — мечтал, помнит-ся, переделать природные горы в монументы.

Эрзя прятельствовал с отцом её любимого мужа Иосифа: до революции свёкор был крупным и влиятельным провинциальным промышленником — владел типографиями. Жена выписывала шляпки то из Парижа, то из Варшавы, а уж какие у них были лошади... Даже спустя годы Моисей Иосифович не мог забыть тех лошадей — плакал, вспоминая, хотя потерял несопоставимо больше. Вообще всё потерял, кроме нескольких серебряных ложек, припрятанных верной прислугой. Вот на эти самые ложки — на вырученные за них деньги — семья переехала в Екатеринбург из Верхнеуральска, а ещё от тех времён уцелело прятельство с Эрзей, пока тот жил на Урале. Это, впрочем, продолжалось недолго, как, кстати, и стояние Ваньки Голого на главной площади: однажды утром статуя исчезла и, по слухам, тоже была сброшена в городской пруд. А Эрзя уехал вначале в Париж, затем и вовсе в Аргентину, где долгие годы резал скульптуры из дерева. Породы тех деревьев звучали как проклятия: кебрачо! урундай! альгарробо!

Она целует нежный лобик ребёнка, ничего не зная про Эрзю и деревья-проклятия, — близкие люди так легко становились в те годы далёкими... Быстрее, чем дерево превращалось в скульптуру: сегодня вы друзья, а завтра наступит ещё очень не скоро.

Хорошо, что есть вещи, которые невозможно отменить, — например, железная дорога. Если уж

её построили, будьте уверены, всегда найдётся тот, кто купит билет.

В самом начале 20-х поезд от Ленинграда до Свердловска шёл трое с лишним суток. Она только-только окончила первый курс — химико-биологический факультет пединститута имени Герцена — и ехала домой на каникулы. Родители ждали её, как из печи пирога. Сердились: тоже ещё выдумала уезжать! И в Свердловске были вузы, и жить вместе с родными — не то что у чужих людей... Но она была как тот персик — снаружи мягкая и нежная, а косточка внутри — твёрдая. Ленинград — значит Ленинград. Прекрасный город! И студентов тогда в Эрмитаж пускали бесплатно, и жить самостоятельно оказалось вовсе не так страшно, как предсказывала мама, и, главное, учили в институте так, как нигде больше не могли, да и здесь вскоре перестали. Наша героиня впрыгнула в последний вагон! Недобитая профессура читала лекции по революционной программе — был шанс прослушать полный курс классической генетики, чем в СССР могли похвастаться очень и очень немногие. На литературных вечерах тогда ещё можно было ухлёпывать Ахматову... Для девочки, которая сочиняла стихи, это было всё равно что прикоснуться к Луне.

За окном вагона мелькают то деревья, то деревни.

Вместе с ней в институте — правда, на другом факультете — учился строгий юноша по имени

Николай Заболоцкий. Любое имя в самом начале пути всего лишь имя: лишь спустя годы, услышав его, люди будут ахать и изумляться, а тогда — ну, Коля и Коля. Сдержанный розовощёкий юноша ведал институтской стенгазетой, где вывешивали студенческие стихо- и просто творения: эпиграммы, карикатуры, рассказы. Рядом с газетой висел ящик вроде почтового — таким образом в «редакцию» стекались материалы.

Она, хоть и писала стихи с детства, решила в этом году сосредоточиться на своей любимой химии — невозможно преуспеть во всём, рано или поздно придётся выбирать. Так пусть это будет наука! Поэтом серьёзным себя не считала и полагала, что сможет перевести свою страсть к стихотворчеству на новые рельсы: сохранит приятельские — читательские! — отношения.

И всё же, как ни пройдёт мимо свежего номера стенгазеты, как ни прочтёт стихи, отобранные «для публикации», так подумает: а ведь мои ничем не хуже!

Кто же я, поэт или химик? Несколько недель сидела сама на себя, а потом бросила в редакционный ящик листок. Стихотворение без подписи:

Я — Золушка не сочинённая,
Жду принца, как золушки из книг,
Но у тех глаза подведённые,
Мои — расцветают вмиг.

Я в улицах строгих затерялась,
Отбиваю каблуками гранит.
Одна я живая осталась,
Мёртвый Брюгге печально спит.
На туманных невских просторах,
Зачарованный сам собой,
Этот спящий имперский город
Стал отныне моей судьбой.

И в следующем номере увидела своё сочинение в газете — да ещё с иллюстрацией и с припиской мелкими буквами:

«Автор! Зайди в редакцию!»

(Вот я кто — автор!)

В редакции поджидали Коля Заболоцкий, дружба с ним, прогулки по Каменноостровскому проспекту, морковный чай и каша из турнепса, что-то вроде ухаживаний... Той зимой впервые услышала от Заболоцкого слова, которые сегодня знает каждый: «Душа обязана трудиться и день, и ночь». Любая строка поначалу всего лишь — строка, и только потом она становится цитатой.

Вот и юношеская дружба со временем переросла бы, возможно, в нечто большее, если бы не тот поезд.

Она кормит малыша и вспоминает, улыбаясь, как сидела в вагоне с учебником по органической химии на коленях. Будто бы занималась,

а на самом деле — готовилась к разговору с родителями: «Дорогие мои, простите, не удивляйтесь, но я уезжаю в Индию! Да-да, в самую что ни на есть настоящую Индию, и прямо осенью! Один буддийский монах позвал меня в путешествие...» Тут мама, конечно, не выдержит — какой-какой монах?

Хихикнула, представив себе мамино лицо, а на учебник легла вдруг чужая рука:

— Что вы такое смешное читаете? Надо же — органическая химия...

Она и не заметила, как в купе появился новый пассажир. Молодого человека следовало признать красивым: глаза, кудри, губы — всё было в нём хорошо. И одет аккуратно — сапожки прямо как у щёголя, и движения такие ладные, продуманные, приятно следить за ним взглядом... Уральский говорок напомнил ей о детстве — и она с таким наслаждением вслушивалась в быструю речь, что едва не упустила из внимания те важные вещи, которые рассказывал Ося («Меня зовут Иосиф, можно просто — Ося»). Не так рассказывал, как это делают случайные попутчики — ведь все мы хотя бы раз в жизни становились хранителями железнодорожных тайн. Нет! Ося рассказал ей о себе всё и сразу потому, что с первой же минуты поверил — здесь, в этом купе, начинается их общая история, и очень важно, чтобы маленькая смешливая девушка тоже

в это поверила... Пусть узнает о нём хотя бы самое главное — ведь поезд от Ленинграда до Свердловска идёт лишь трое суток!

Она уже сказала самое главное: «Меня зовут Белла».

Двадцатый век был им почти ровесник: родился тремя годами раньше Беллы и на два года позднее Иосифа. «Мой отец — бывший миллионер. Буржуй, а теперь — лишенец». Лишенец — тот, кто сполна хлебнул лиха. «В типографии печатали революционные листовки, поэтому отца не расстреляли, а мне позволили поступить в Томский университет, на медицинский факультет».

— Так вы врач! У нас много общего — во всяком случае, химия и биология.

И не только здесь нашлось общее, сходств оказалось с избытком.

Родители у него тоже проживают в Свердловске, дом на берегу Исети — рядом с Каменным мостом.

Белла ахнула:

— Мы совсем недавно там жили! Ещё в прошлом году. Вы опишите дом, пожалуйста.

Оказалось, тот самый — именно здесь жила её семья, пока мама не надумала сменить квартиру (ей нравилось переезжать).

— А вы в какой комнате спите? Моя была — за русской печью.

— А что, если нам на «ты» перейти?

— Я не возражаю. Давай-те, давай на «ты»!

И тут за окном неожиданно появился свердловский вокзал.

2

Его дед изменил семейную фамилию, чтобы придать той русское звучание, а отец вернул прежний вариант. Сам же он, дождавшись подходящего возраста, поменял имя: раньше его звали как завоевателя, теперь — как мастера. И никто не верил, что это его настоящие имя и фамилия — уж больно всё это смахивало на творческий псевдоним. Родители звали его, как прежде — Эриком. Мама — химик-эксперт, а ещё — детский писатель и взрослый поэт. Отец — врач-отоларинголог, которого в Железнодорожном районе знали и дети, и взрослые — пациенты приходили специально на консультацию к Иосифу Моисеевичу. Познакомились родители в поезде, по дороге из Ленинграда в Свердловск — эту историю мама часто рассказывала маленькому Эрику за обедом. Он слушал и, забывая о еде, начинал лепить из ржаного хлеба рыцарей. Очень хорошие получались рыцари — вроде бы и надо маме отругать сына за неподобающее поведение за столом, да язык не поворачивался. И не было у родителей такой манеры — ругая, добиваться послушания. В этой се-

мье с детьми было принято дружить — потому и Эрик, и его сестра Людмила ничего не боялись, росли сильными, самостоятельными личностями. Эрик — тот даже чересчур самостоятельная личность, считали окружающие. На всё у него своё мнение, а главное — клокочущая внутри энергия, совладать с которой юному человеку очень непросто. Прежде чем научишься переплавлять эту бурную стихию в картины, или, быть может, в научные открытия, или, почему бы и нет, в поэзию, можно наломать таких дров! Темперамент ему достался от отца, такой, как ни смирий, рано или поздно рванёт...

Эрик знал, что в нём заложен, как снаряд, особый дар — такой, что выдают с рождения. Но даже сам человек не сразу догадывается, с помощью какого искусства он сможет лучше всего выражать свои чувства и какая способность выстрелит (раз уж это снаряд) прицельнее. Он обладал, что называется, широкой одарённостью: прекрасно рисовал, писал стихи, интересовался не только книгами о рыцарях, но и философскими сочинениями... С удовольствием посещал изостудию во Дворце пионеров (через дорогу — тот самый Ипатьевский дом, где убили царя со всей семьёй). В 1939 году работы Эрика отметили на Всесоюзном конкурсе одарённых детей, а в августе 1941 года он — шестнадцатилетний подросток — заявил, что отправляется на фронт. Услы-

шал в парке Дворца пионеров звучный голос диктора Левитана и сразу же понял, что война — это уникальный шанс состояться как личности, человеку, мужчине. Упускать его — непростибельная глупость и пошлость... Родительская опека виделась тесной, как детская комната, из которой человек внезапно вырастает в единственную ночь.

Мальчик мой!
Ты скоро станешь взрослым.
Как бы детство я ни берегла,
День придёт — и ты легко и просто
Сбросишь тяжесть моего крыла.

Эрик не знал, что такое война.

Война — это...

Ответы ждали в будущем, жаль, что вопросы тогда будут другие.

Отец работал в призывной комиссии военкомата и выяснил едва ли не сразу, что сын просится на фронт добровольцем. Еле уговорили — сбиваясь то на ругань (Иосиф), то на плач (Белла) — поехать в Самарканд: туда эвакуировали из Ленинграда школу для одарённых детей при Академии художеств, о которой сын давно мечтал. Там, в Узбекистане, жила родня. Там было безопаснее и куда как сытнее, чем на Урале. И преподавали в эвакуированной школе лучшие в своём

деле специалисты — он многому у них научился... Каждый день родители радовались тому, что сын далеко от линии фронта, но ровно через год радости этой пришёл конец. В августе 1942 года Эрик ушёл на фронт добровольцем. Сначала попал в Первое Туркестанское военное училище на границе Ирана и Афганистана, потом был включён в состав 860-й Гвардейской десантной дивизии 45-го гвардейского десантного полка. Второй Украинский фронт. Эрик не сомневался, что станет гордиться своим военным опытом, — но, как выяснилось, меньше всего в жизни ему захочется вспоминать о войне. Этот ответ тоже поджидал в будущем.

А мать и отец ждали его в настоящем.

Фронт, который Эрик видел в героических снах, в реальности оказался сном кошмарным. Наивный юноша, вышагнувший из книг, прибыл к месту назначения — и увидел вместо сотни человек вверенной ему роты восемь уставших стариков, мокнущих в окопе под дождём. Граждане Кале? Он отдал им свою новую плащ-палатку.

Война — это минимум информации. Война — это обман, холод и вечная, непобедимая усталость.

Полностью погиб батальон,
 Гвардейская не прошла пехота.
 Недоступный в земле и бетоне укрепрайон

Штурмовала вторая штрафная рота.
После боя тишина необъятная, ночь тиха,
Крепко обнявшись, спят трупы.
На небе играет окровавленная луна...

Это — его стихи. Позднее были другие, уже о нём:

Лейтенант Неизвестный Эрнст.
На тысячи вёрст кругом
равнину утюжит смерть
огненным утюгом.

В атаку взвод не поднять,
Но родина в радиосеть:
«В атаку, — зовёт — твою мать!»
И Эрнст отвечает: «Есть».

Но взводик твой землю ест.
Он доблестно недвижим.
Лейтенант Неизвестный Эрнст
идёт наступать
один!

И смерть говорит: «Прочь!
Ты же один, как перст.
Против кого ты прёшь?
Против громады, Эрнст!»*

* Андрей Вознесенский. «Неизвестный — реквием в двух шагах, с эпилогом».

На войне он боялся не смерти, а того, что смерть отберёт у него то главное, чего он ещё и сам о себе в точности не знал. Стать неизвестным солдатом или остаться Эрнстом Неизвестным — вот фронтовая дилемма на каждый день. Он далеко не сразу нашёл нужный путь среди других, тем более все они выглядели верными, единственно правильными. Война научила его не ошибаться в выборе, но оставила за собой право переиграть даже то решение, которое казалось окончательным.

Эрнст Неизвестный прошёл всю войну, был контужен, ранен — а 28 апреля 1945 года погиб геройской смертью в боях за австрийский Рюккендорф. Об этом написали в похоронке за подписью майора Величко, отправленной родителям в Свердловск. Гвардии младший лейтенант, командир стрелкового взвода 260-го стрелкового полка одним из первых поднялся в атаку, ворвался в траншею, гранатами и огнём уничтожил пулемётную точку и шестнадцать немецких солдат. Поймал разрывную пулю — выбиты три ребра, повреждены межпозвоночные диски, разорвана диафрагма. Награждён орденом Красной Звезды — посмертно.

Лишь мама сползёт у двери
с конвертом, в котором смерть.

Ты понимаешь, Эрик?!
«Ещё бы», — думает Эрнст.*

Любой скульптор, услышав эту историю, сказал бы: вот идеальный образ для памятника неизвестному солдату! Да вот только с похоронкой майор Величко всё-таки поторопился: Неизвестный-солдат чудом остался жив. Молодые санитары перетаскивали в подвал тела погибших в том бою и, поленившись спускаться, сбросили Эрнста вниз по ступенькам — и он очнулся от болевого шока, вернулся с того света. Закричал, перепугав нерадивых санитаров — *один-то у нас живой!*

После госпиталя Эрнст получил вторую группу инвалидности — в справке было сказано: «Не работоспособен, нуждается в опеке».

3

Стихи отнимали не так много времени — и дарили взамен внутренний покой и тишину. Белла всегда ценила тишину — вокруг её было так мало...

Тем летом, когда они с Осей познакомились, мама в очередной раз поменяла квартиру и выкро-

* Андрей Вознесенский. «Неизвестный — реквием в двух шагах, с эпилогом».

ила дочке-студентке комнату в мансарде — невиданная по тем временам роскошь. Здесь Белла секретничала со школьными подружками, писала стихи, принимала в гостях нового знакомого... Ося, впрочем, бывал у них нечасто — летом он работал фельдшером на Казанской железной дороге. За столом рассказывал, что знаком со всеми тузами железнодорожного управления — что уж там говорить о бригадирах поездов и дежурных по вокзалу!

Белла слушала Осю и думала — как бы всё-таки решиться заговорить с родителями про Индию? Уже пол-года прошло, а она так и не собралась с силами. Да и, честно сказать, из Свердловска вся эта затея выглядела уже не такой соблазнительной, какой казалась в Ленинграде. «Посоветуюсь с Иосифом», — решила Белла и вечером на прогулке доверила приятелю тайну. А он, представьте, рассмелся:

— Ну и какая из тебя индийская жена?

— А я разве сказала, что замуж за него собираюсь?! — вспыхнула Белла.

— Ты, может, и не собираешься, а вот ему-то зачем тебя уговаривать? Может, в гареме не хватает русской девушки?

Белла так разозлилась, что убежала от него домой, не оглядываясь. И в тот же вечер позабыла... нет, не Иосифа, а того монаха и страну Индию, промелькнувшую в её мире краешком яр-

кой мечты. А Ося появился через несколько дней. Сказал:

— Прости! И всё равно ты совсем ещё маленькая дуручка.

В августе свердловское лето так спешно сворачивает знамёна, что даже оптимисты впадают в грусть, как в спячку. Трава и листва пахнут осенью, мама, не разгибаясь, сидит за швейной машинкой, приводя Беллины юбки в достойное студентки состояние, учебник органической химии так никто ни разу и не открыл. А что, если они больше не встретятся? Да не с органической химией, а с Иосифом, ставшим для неё самым близким, родным человеком?

Значительно меньше Белла волновалась о том, достанет ли билет до Ленинграда, — а зря, журила её мама, ведь купить железнодорожный билет в те времена было сложной задачей, да и поезд ходил только через день. Вот тут Ося и предложил свои услуги — при его-то знакомствах на железной дороге это никакая не задача, а совершенно элементарное дело. И правда, принёс через несколько дней билет — плацкартное место в мягком вагоне, мечта! Вот только почему же благодетель не говорит Белле о том, как ему жаль, что она уезжает?..

В назначенный вечер Иосиф прибыл за ней на извозчике, сам погрузил вещи, уговорил родителей не ехать — он сам со всем справится, посадит

Беллу в поезд, проследит, как бы чего не забыла... И вот там, в извозничьей пролётке, он впервые и поцеловал свою любимую Беллу — так поцеловал, что говорить уже ни о чём не надо было... Они целовались в пролётке, на перроне, в вагоне — вот уже проводница строго велела *проводящим освободить вагоны*. Белла испугалась: иди скорей, а то уедешь!

— Я и так уеду! — улыбнулся Иосиф. — Вот это место — моё. А вещи у проводников припрятал, сейчас принесу.

Поезд разогнался, а Белла никак не могла поверить — неужели Иосиф сделал это для неё? Втайне он перевёлся из Томска в Ленинград, в ЖМИ — Женский медицинский институт.

— Да ты подожди смеяться! Название сохранилось, а принимают туда давно уже не одних только женщин.

Но она смеялась не над ним, а от радости.

И вновь поезд шёл слишком быстро — ну что такое три дня, когда рядом с тобой любимый человек?.. За окном вдруг появился Ленинград, а дальше жизнь пришпорила коней и понеслась с такой скоростью, какую Белла и представить себе не могла. Они с Иосифом поженились, он успел окончить институт, а она прервала обучение, потому что забеременела. В 1925 году родился Эрик, потом — Людмила. Доучивалась спустя несколько лет, и любимый Ленинград стал для неё теперь

всё-таки чужим городом: на такой смотришь, как на картину в музее, любишься, не пытаешься присвоить. В сердце Беллы главное место на долгие годы занял Свердловск — город, где она была счастлива.

Эрику было года три, когда на пороге вдруг появился незнакомец.

— Мам, к нам солдат пришёл! — закричал сынишка. Смотрел на гостя с обожанием — его с ранних лет завораживала военная форма.

Солдатом оказался Коля Заболоцкий — шинель подпоясана ремнём, армейская служба пройдена. Кашеваром был, а теперь будет заниматься одной только литературой. Рассказывал, что знаком с Маршаком.

Маленький Эрик вдохновенно повторял незнакомое имя, в котором тоже звучало что-то несомненно военное, *марширующее*:

— Маршак, Маршак!

Заболоцкий писал Белле все эти годы — и она отвечала на его письма, а он потом говорил, что её конверты пахнут сосновым лесом. Но после той встречи переписка утихла. Белла, конечно, знала, что её друг стал выдающимся поэтом, как впоследствии узнала и о том, что в 1938 году его осудили по делу об антисоветской пропаганде.

Она встретила с ним ещё только один раз, и встречу ту вспоминать тяжело.

Было это после войны, в Москве, в 1949 году. Эрик тогда учился в Московской академии художеств, в стране шла борьба с космополитизмом. В Ленинграде осудили Ахматову и Зощенко, в Свердловске на роль парии назначили члена Союза писателей, детского автора Беллу Дижур, а с ней вместе — ещё двух писателей-евреев (больше в свердловском отделении попросту не нашлось). К Иосифу, ставшему к тому времени замечательным врачом-отоларингологом, перестали обращаться пациенты — ну как же, «дело врачей»! И даже в самых незатейливых, бытовых разговорах Белле приходилось выслушивать откровения вроде того, каким поделилась с ней однажды дальняя знакомая:

— Я ведь тоже, Белла Абрамовна, однажды чуть не вышла замуж за еврея. Очень звал! Но я отказалась. Не захотела жиденят рожать.

Знакомая мило улыбалась и как бы ждала в ответ такой же понимающей улыбки.

Дочь Людмилу в школе терзала классная руководительница — на уроках рассказывала детям о безродных космополитах, пролезших в великую русскую литературу и загрязняющих могучий русский язык. Пальцем показывала: вот, ребята, и у Люды такая мама. Девочки, с которыми дочь ходила из школы домой, теперь и здороваться с ней не хотели. В «Уральском рабочем» опубликовали статью про «Антинародную групп-

И птичья беззаботность
Мой озаряет быт.

Эрик делал серьёзные успехи — и, подумать только, познакомился в Москве со знаменитым скульптором Эрзьей. Тем самым, что дружил с родителями Иосифа. После войны Степан Эрзя вернулся в Россию из долгой эмиграции — привёз с собой необыкновенные скульптуры из чёрного дерева — сам выкупил, сам оплатил транспортные расходы: Боже, какое дорогое дело быть скульптором! Мастер принимал гостей — в том числе незнакомых, любопытствующих — в новой «мастерской» — холодном сыром подвале. Студент Неизвестный, восстановившийся после страшного ранения (а на деле — после возвращения с того света, о котором напоминали постоянные боли и укороченная шея), наглядеться не мог на его работы. Каждый день приходил сюда — как в институт! Ни один художник не устоит перед таким благодарным зрителем, вот и Эрзя в конце концов разговорился с молодым человеком, спросил, как его фамилия, откуда он. Неизвестный? Из Свердловска? А позвольте, Моисей Неизвестного не родственник? Какое же это было счастье — встретить родного внука старинного друга в собственной мастерской, и, надо же, он собирается стать скульптором! Как тут не поверить в рисунок судьбы, который создаётся задол-

го до нашего появления на свет? Ниточки тянутся из прошлого в будущее, переплетаясь в самых неожиданных местах. Одна такая ниточка поджидала Беллу в почтовом конверте, пришедшем из Москвы. Николай Заболоцкий, вернувшись из ссылки, жил в столице — и просил Беллу прислать ему с okazji те *детские каракули*, которые она, возможно, сохранила. «Детскими каракулями» поэт называл свои ранние стихи, посвящённые Белле, и письма, которые он ей писал — что ж, всё это действительно сохранилось. Белле даже в голову не пришло сомневаться в словах Заболоцкого — он утверждал, что хочет издать сборник, а значит, она должна помочь ему, как поступают настоящие друзья. Белла Дижур была замечательным, верным другом — но как же она ругала себя потом за то, что выполнила просьбу Николая!

Оказия вскоре подвернулась — Белле понадобилось приехать в Москву по собственным делам. Заболоцкий пригласил её прийти к нему домой, и она ровно в назначенный час позвонила в дверь его квартиры. Жена Заболоцкого, поздоровавшись с гостьей, вышла из комнаты. Коля почти не говорил с Беллой, а когда она протянула ему тетрадь со стихами и письма, поспешно сбросил всё это в ящик стола, как будто боялся испачкаться.

Потом она узнала, что поэт собирал все свои ранние публикации, письма, стихи для того, что-

бы уничтожить их. Последовательно сжигал всё, что ему возвращали для «сборника»...

После смерти Заболоцкого Белла познакомилась в Коктебеле с Борисом Слуцким. Поездка в Дом творчества, Слуцкий рассказывает о том, как Николай бормотал себе под нос какие-то строчки. Одну из них Слуцкий запомнил:

«Сквозь мои золотые ресницы протянулась к Боженьке дорожка».

— Чьи это слова? — поинтересовался Слуцкий, и Заболоцкий ответил:

— Была одна такая маленькая смешная девочка...

Белла с трудом удержалась, чтобы не крикнуть — это я была той смешной девочкой! Но кому он был бы нужен, этот крик, — уж точно не ей. Она не считала себя настоящим, тем более выдающимся поэтом — но признания Заболоцкого («Это у тебя неплохо получилось», — говорил он о некоторых её стихах) носила в сердце всю свою жизнь. Как и память о нём, близком друге, свидетеле юности, большом — без сомнений! — поэте.

4

Должно пройти время, чтобы жизнь перестала делиться на «до» и «после» войны. Эрнст был ещё очень молодым человеком, но возвращение с того

света требует много душевных сил... И теперь он знал точно — бессмысленно говорить о войне словами, для этого годится только искусство. Самая прочная память — в скульптуре, а главный его талант — ваятеля.

Когда Эрнст вернулся в Свердловск осенью 1945 года, то преподавал какое-то время рисование в свердловском Суворовском училище. Каждый день видел перед собой наивные глаза, узнавал в них вечную мальчишескую жажду подвига... Мама и отец понимали, что Эрик не будет преподавать рисование вечно, — и, когда он объявил, что уезжает в Ригу, что поступил в Академию художеств Латвийской ССР, отпустили сына со спокойным сердцем. Насколько, конечно, оно может быть спокойным — родительское сердце.

Он приезжал из Риги в Свердловск на каникулы — и как раз в то время познакомился с начинающим уральским художником Виталием Воловичем, тогда ещё второкурсником. Судьба могла свести их раньше — мама Воловича, писательница Клавдия Филиппова, дружила с Беллой Дижур и часто принимала её в гостях. О, какие это были незабываемые гости, кто только не перебивал в том доме на улице Мамина-Сибиряка: юный Волович, сидя на поленнице дров и хрустя морковкой, видел Мариэтту Сергеевну Шагинян, Павла Петровича Бажова и Беллу Абрамовну Дижур: маленькую, изящную, с живыми яркими глазами...

Вот так бывает — родители дружили всю жизнь, но дети познакомились позже, когда Эрнст заглянул в художественное училище, располагавшееся тогда на пятом этаже филармонии. В самом начале пути — не так много сделано, никому не известен — он уже выглядел как мастер. Широкие плечи, бешеные глаза, речь с напором — и вдруг к лицу резко приклеивается улыбка, как символическое обозначение эмоции. И какая разница была между его работами и тем, что делали свердловчане: они в основном срисовывали, он, прежде всего, мыслил, облекая незримые идеи в каменную плоть. Шёл не от внешних эффектов, а от тех потаённых слов, которые так не любил произносить, — они питали его мысль, создавали конструкцию, вели к единственно возможной форме. «Я чувствую, как памятник ворочается в тебе...» Кошмарный сон наоборот — когда ты заключён внутри памятника, странной полой статуи, отличной по твоей форме...

— Скажи, ты считаешь себя гением? — много позже спросит Неизвестный у Воловича, и тот ответит, что, разумеется, нет, не считает. А кто бы ответил иначе? Вот разве что Эрнст Неизвестный. Он всегда знал, что ему дано больше, чем можно вынести — ведь даже тяжесть большого таланта несопоставима с тем весом, который таскают на себе гении. Без всякой надежды, что эта гора надежды упадёт с плеч.

В 1947 году Неизвестный переводится в Институт имени Сурикова Московской академии художеств — и поступает ещё и на философский факультет МГУ. Он чувствовал нехватку знаний, ощущал эту пустоту как болезнь — и заполнял собственными усилиями, отливая форму, понятную на тот момент только ему самому.

Хороший скульптор должен быть философом, гениальный — мыслителем. Скульптуры Неизвестного из серии «Война — это...» — первые, тяжёлые шаги на пути, где раненый солдат не может подняться, а идущий воин с трудом переставляет неподъёмные ноги. Да, это вам не изысканный женский торс и не голова мулатки — простые, понятные, красивые! Ну, и Великую Отечественную войну так показывать, мягко говоря, не принято: война — это героизм, подвиг, единение народных масс, а не страдание отдельно взятой души. Слишком индивидуальный подход, слишком независимый характер... А ведь так хорошо начинал, сокрушались наставники — и в секцию скульпторов Московского отделения Союза художников был принят, и на республиканских выставках блистал! Как вдруг в такой формализм ударился...

Для искусства подобные виражи не внове — художники, отстаивающие свой взгляд на мир, водились при любом режиме. И у них всегда было лишь два способа взаимодействия с властью. Либо уйти в жесточайшую конфронтацию, кото-

рая может потянуть за собой если не тюремный срок, так эмиграцию, либо раздвоиться, как делал, например, Гойя: на заказ рисовал парадные портреты королевской семьи, для души — адские капричос.

Вот только скульптор-монументалист не может ваять тайком — это ремесло всегда на виду, как памятник в городском парке открыт прохожим, вандалам и птицам... Скульптор при любом режиме зависит от вкуса и денег властителей — иначе всё начнётся и закончится маленькой пластилиновой моделью, которая может так и не стать грандиозной статуей. Сколько всесоюзных конкурсов выиграл Неизвестный — не сосчитать. И ни в одном случае ему не дали осуществить проект — потому что пусть он и лучший, а всё равно — *формалист*. Ног у скульптур таких быть не должно, лица вообще *не похожи*... Как говорила ему впоследствии министр культуры Фурцева, «прекратите лепить эти ваши бяки!». Ладно, если человек не может по-другому, но этот-то может и, получается, просто не хочет? Образцовое искусство того времени выставлено в скверах и на площадях, *а с формализмом, товарищи, надо бороться*.

Переполненный идеями, бурлящий, кипящий мастер, не перестающий работать даже, кажется, во сне, к середине 50-х оттеснён далеко на обочину. Он решает вернуться в Свердловск — хотя бы

на время. Поступает учеником литейщика на завод «Металлист». Видели, как прекрасен льющийся металл? Вот вам и счастье, а остальное — не за горами. *Весёлый бог работы* отвлекает от неудач, благословляя на новые подвиги, ремесло всегда удержит на плаву.

Система, чувствуя сопротивление, отторгает неудобный элемент или же поглощает его — но в случае с Неизвестным сюжет развивался по не известному доселе сценарию. Его прорабатывали и убеждали, запугивали, били (в прямом смысле слова). Уничтожали скульптуры. Присваивали идеи. За всё время, прожитое в СССР, у Эрнста было лишь пять официальных заказов — а проектов, идей, работ столько, что они буквально не помещались в мастерской.

Идеи приходили к нему сами — он их не вымалывал, не было нужды. В 1956 году, в Свердловске, он придумывает «Древо жизни» — обнажённое сердце человечества. Это будет даже не скульптура, а здание, по которому можно ходить, разглядывая детали, проникая в замысел автора... Мощь и многочитаемость — такие же приметы скульптур Неизвестного, как сокрушающая манера говорить — примета самого скульптора. Возражать ему не было смысла — он обрушивал любые аргументы силой логики, он клокотал как вулкан, и казалось, что эта беседа важна для него не меньше, чем искусство. Не только бронза, ещё

и графика, иллюстрации к Данте, к любимому своему Достоевскому... Он работал как заведённый; даже когда в мастерскую приходили друзья (и враги, разумеется, — от этих просто отбоя не было), не переставал рисовать. Карандаш безотрывно скользил по бумаге, как лодка, которая утонет, если хотя бы на миг остановится... Объяснять свои идеи вроде бы и не нужно — зритель должен считать их сам, но при условии, что идея воплощена в скульптуре, а не закрыта накрепко в мастерской.

Неизвестный стал известным всему миру 1 декабря 1962 года, когда в Манеже открылась выставка, посвящённая тридцатилетию Московского Союза художников. Оттепель — опасная пора, легко можно схватить простуду или поверить в то, что погода наконец-то налаживается: следом, как правило, идут крепкие заморозки. Мэтрам соцреализма приходилось нелегко — то здесь, то там появлялись, как дерзкие первоцветы, новые художники, претендующие, понимаешь, на собственное видение. А разве может быть собственное видение в стране, где даже видения должны укладываться в канон, как в прокрустово ложе? Следовало выжечь эту заразу, как язву на теле советского искусства, — и лучше не размениваться на мелкие удары и тычки, но сразу вдарить по ней самым мощным оружием. Никита Сергеевич Хрущёв, ценитель номер

один, был приглашён на выставку почётным гостем — а среди участников оказалось столько нонконформистов, сколько получилось отыскать. Предпочтение, что удивительно, отдавалось евреям — это чтобы наверняка. Работы были размещены так, дабы посетитель первым делом видел самые сложные, новаторские, непривычные. Наивные нонконформисты если и подозревали подвох, то всё же надеялись на лучшее: каждый считал, что сумеет объяснить дорогим гостям, в чём состояла идея и почему женский торс работы Неизвестного ничем не напоминает, например, Венеру Милосскую.

Неизвестный вместе с коллегами находился на втором этаже Манежа, когда в здание вошёл Хрущёв со свитой. Когда гроза приближается, мы чувствуем её движения и предугадываем удар грома прежде, чем появится молния. «Дерьмо собачье, — кричал Хрущев. — Это же педерастия! Так почему педерастам надо десять лет давать, а этим — орден?»

Ценитель номер один не желал восхищаться «фабрикой уродов», как окрестят впоследствии в газетах работы скандальной выставки. Он бурлил и кипел не хуже Неизвестного, а свита почтиительно оттеняла его гнев продуманными репликами, и гневно сведённые брови Брежнева темнели на заднем плане знаменитых фотографий: возмущённый глава государства и никому не ве-

домый скульптор стоят друг против друга, как на ринге.

Эрнст не спешил сдаваться — мужчина, чьё детство прошло в Железнодорожном районе Свердловска, не умеет пятиться прочь от обидчика. В детстве он дрался так, что чужие родители, бывало, отказывались признавать его мальчиком из интеллигентной семьи. Предлагая Хрущёву пройти к его работам, он, по сути, дал по морде общественному мнению — *этот ещё и рыпается, поглядите-ка!* Но Эрнст считал, что сумеет объяснить, а Хрущёв — выслушать и понять. Любой сможет понять, почему этот женский торс выглядит так, а не иначе.

Тогда он ещё в это верил.

Кто-то из свиты спросил:

— А вы, товарищ Неизвестный, смогли бы полюбить такую женщину?

— А вы, — парировал скульптор, — смогли бы поковырять в зубах Эйфелевой башней?

Хрущёв слушал объяснения дерзкого художника, но не слышал их — ему вполне хватало того, что он *видит*. Искусство, по мнению ценителя номер один, должно быть понятным, а если к нему прилагаются ещё какие-то объяснения, то это уже не искусство. Женщина похожа на женщину, лошадь — на лошадь. И всё же в этом Неизвестном было что-то особенное, непривычное — может, потому, что в нём не было ни грамма страха?

Надо остановить эту дерзость, прижать к ногтю, указать место:

— Плохо вас ваша мама воспитала!

— Хорошо она меня воспитала. Без прогибов!

5

Эрнст Неизвестный был очень похож на свою мать, Беллу Абрамовну Дижур — и дело здесь не только в сходстве внешнем, несомненном, а прежде всего в том, что он, как и Белла, преодолевал обстоятельства такой силы, что другому человеку на замах не хватило бы храбрости. И мать, и сын обладали разносторонней одарённостью, обоим выпали на долю тяжелейшие испытания, оба упрямо продолжали делать своё дело, даже когда шансы на успех могли привидеться разве что во сне. Есть и ещё один общий пункт для графы «Сходство» — и Неизвестный, и его мама распрощались вначале с родным Свердловском, а потом — и со страной. Нелюбимые дети всегда покидают дом — и даже если пытаются однажды вернуться, из этого, как правило, ничего не получается.

«Я мышь, которая родила гору», — шутила Белла Абрамовна о себе и своём теперь уже всемирно известном сыне. Эрнст Неизвестный

и вправду напоминал гору, ту самую, которая может запросто сойти со своего места и превратиться в монумент: ведь скульптор всегда поначалу сам обращается в то, что будет впоследствии отлито из бронзы. Сначала — собственная боль, потом — идея, а потом уже только Христос, пронзённый распятием, истерзанный пророк, маска, плачущая слезами из людских лиц, мёртвый солдат, Орфей, играющий на струнах своего сердца...

Мир признал его гением, но пророки в родном отечестве по-прежнему не в чести, как, впрочем, и орфеи. В 1968 году Неизвестный получает первую премию международного конкурса, посвящённого строительству Асуанской плотины, — чужая страна Египет желает получить именно такой памятник, в виде гигантского цветка лотоса, но на пути к его воплощению скульптору приходится вступить в борьбу с теми, кто принимает решение в родном СССР. Президент Финляндии хочет купить скульптуру Неизвестного, но ему настойчиво предлагают произведения других советских ваятелей. Ватикан приобретает для своей коллекции «Большое распятие», но этого демонстративно не замечают, как и международных выставок в Белграде, Лондоне, Париже, Локарно, Тель-Авиве... Да что они там понимают? Если нам понадобится гений, мы назначим своего.

Что же есть у Родины для нелюбимого сына? Его уговаривают, провоцируют, запугивают, иногда в виде исключения позволяя сделать, например, барельеф для колумбария Донского кладбища или монументальную стену в «Артеке». С ним ведут нескончаемые беседы, начатые тем декабрьским днём в Манеже, — и если бы он согласился поменять мировоззрение, не настаивал на своём, то сейчас же получил бы официальное признание, успех, награды... Но здесь не могло быть никакого «если», никакого «бы». Неизвестный — не диссидент и не борец с системой, он — скульптор, который не может работать в тени.

Прошлое возвращается к Неизвестному странными путями — война снится в кошмарах, а наяву, в один из приездов в Свердловск, ещё в 1955 году, он соглашается сделать скульптуры для Дворца культуры в Асбесте: тот ДК строили пленные немцы. Скульптуры «Наука» и «Искусство» стоят под открытым небом у входа в здание, возведённое вчерашними врагами.

А когда в 1971 году умирает Хрущёв, его семья обращается к Эрнсту с просьбой. Только он может сделать такой надгробный памятник своему бывшему хулителю, о каком мечтал бы (если о таких вещах в принципе можно мечтать) Никита Сергеевич. И Неизвестный, конечно, соглашается — ставит чёрно-белую точку в том давнем споре. Дихотомия, белый мрамор и чёрный гранит,

знакомое всему миру лицо с улыбкой, тюрьма противоречий... Хороший памятник! Без прогибоннов. И пусть государство даже здесь сказало своё «фи», семья Хрущёва настояла — Неизвестный, и только Неизвестный.

Прошлое меняет настоящее и претендует на будущее — но будущего в СССР для скульптора Неизвестного нет.

Десятого марта 1976 года Эрнст Неизвестный покидает любимую, но не любящую его страну — вначале Швейцария, потом — Америка. Новый мир, новый дом, мастерская, где можно работать, думая только о том, что ты сейчас делаешь, — а не о том, что очередная идея будет погребена там же, где родилась.

Весёлый бог работы хранит сына Беллы, так же как он хранил её саму.

6

Она снова едет в поезде — теперь уже одна, без Иосифа. Теперь она всегда без Иосифа, умершего в 1979 году, — тяжело, когда уходишь не первой. Не сосчитать, сколько было в её жизни поездов, сколько песен спето для неё железной дорогой... Тот давний пассажирский состав, который свёл её с будущим мужем. Тот товарный вагон, где она везла в 1944 году из Нижнего Тагила корову для

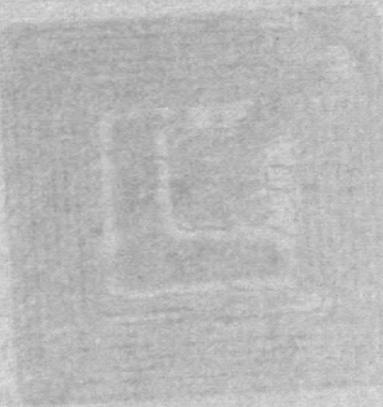
Бажова — да, именно корову по кличке Зона подарили уральскому писателю тагильские колхозники, и члену писательской организации Белле Дижур доверили важное дело: доставить подарок в Свердловск. Зону погрузили в вагон вместе с тонной сена, и хрупкая городская поэтесса сопровождала корову на всём пути до бажовского дома, того, где теперь — музей.

Город Свердловск, где она была счастлива, любима, где она работала, дружила, растила детей и писала свои стихи, город, где осталась могила Иосифа, мелькает за окнами поезда в последний раз. Белла обменяла просторную свердловскую квартиру на комнату в Юрмале — считалось, что из Латвии ей будет проще эмигрировать, уехать к сыну за океан. Но её не выпускали к нему долгих восемь лет, а когда в конце концов они встретились в Америке, это было похоже на тот далёкий день 1945 года: сын обнимает её, он жив — и она жива, и пробудет с ним рядом много лет, потому что век ей был назначен долгий... Ну а весёлый бог работы не допустит забвения.

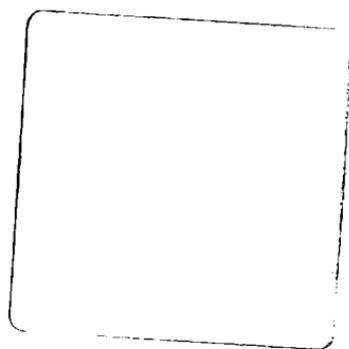
Об Эрнсте Неизвестном будут издавать монографии, его памятники встанут по всему миру, в Свердловске откроется его музей, а на стене дома в Железнодорожном районе появится мемориальная доска памяти Беллы Дижур. Друзья будут писать вначале письма, потом — воспоминания, и под вечный стук колёс поезда станут рож-

даться строки, которые отзовутся в чьей-то душе
даже через очень долгие годы:

Будет мир, как прежде, — весь в движеньи.
Зло с добром не прекратит боренья.
Будут наводненья той же силы...
Только нас не будет, друг мой милый.
Мы войдём невидимую тенью
В чьё-нибудь ночное сновиденье.
Распахнётся небо голубое
Над чужой невзрачною постелью,
И убогой комнаты обои
Засияют нежною пастелью.
Спящий улыбнётся полусонно...
Будут ему сниться:
Луг зелёный,
Яблонь розовеющие кроны,
Радуг разноцветные колонны,
Тишина лилового заката...
Посмотри, как тень твоя богата!
Тень души.
Её незримым светом
Чьё-то одиночество согрето.



ГЛОРИЯ МУНДИ



- 1, 2 Евгений Ройзман — герой вопреки
- 3 Памятник отцам-основателям Екатеринбурга
Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину
- 4 Василий Татищев — господин исполнитель

1

Не было тогда ещё на Исети ни города, ни завода, а было превеликое число начатых дел, к каждому из которых он подходил, как если оно единственное и наиглавнейшее. Место для завода выбрал как раз в том году, когда перед ним замаячили острог, лишения и даже казнь смертная... Ласковый в переписке давний недруг выждал, как терпеливый охотник, нужное время — и отписал в Петербург доношение. Вначале-то устными наветами обходился, переписку на пути изымал, рабочих сманивал, чинил и другие противности. И вот письменное подоспело: «В бытность в Сибири на Уктусских заводах капитан артиллерии <...> поставил во многих местах заставы <...>, и чрез оныя на Невьянские заводы хлебного припасу не пропускают, и от того не токмо вновь медные заводы строить и размножать, но и железные заводы за небытием работных людей конечно в деле и во

всём правлении государственных железных припасов учинилась остановка, понеже которой хлеб и был, и тот мастеровые и работные люди делили на человека по четверику, и от такого хлебнаго оскудения пришлые работные люди на наших заводах не работали, все врозь разбрелись».

Жалобы тянулись, точно нить из бесконечного клубка, ни начала, ни конца, да и как обходиться недругу, который властвовал спокойно в своих землях, королём был в железной короне, и вдруг прибывает некий капитан от артиллерии, становится начальником и начинает чередить свои порядки, не желает принимать условностей, не берёт никакой мзды! Распутать этот клубок предстояло Вышнему суду, а до того в Сибирскую губернию отправлен с расследованием столичный генерал с голландским именем: рассмотреть обиды и «розыскать» между горным начальником и местным олигархом.

Оговорить невинного — дело нехитрое. Можно изладить и так, что спустя века будет преследовать его шлейф чужих домыслов и несовершенных грехов. Пусть даже вина не подтвердится, а понесёт человек наказание не хуже тюремного срока, находясь под следствием, подвергая опасности доброе имя и, главное, не имея возможности делать то, что особенно желает.

Капитан артиллерии, командированный в 1720 году на Кунгур и в прочие места для осмотра

рудных мест и строения заводов, был по происхождению москвич и дворянин, выходец из рода смоленских князей, потомков Владимира Мономаха. Земельные владения — в Московском и Псковском уездах, на фамильном гербе — пушка и белое знамя, в родительском кошельке — пусто, но родственные связи в те времена были всё-таки важнее денег.

Семи лет от роду вместе со старшим братом Иваном пожалован в стольники — с малых лет служил при дворе супруги царя Иоанна V, Прасковьи. Стольник обставлял заботами царскую трапезу — престижный пост, завидная должность, доброе начало. Иоанн V страдал косноязычием, болтали, что слабоумен и в целом *править некабель*. На царство его венчали вместе с младшим братцем Петром Алексеевичем, по малолетству негодным к единовластному правлению, — за четыре года до рождения нашего героя в Московском Кремле в ход пошли сразу две шапки Мономаха, оригинал и копия. Иоанну дали настоящую, Петру — поддельную, а какая была тяжелее, спросить уже некого.

Семнадцатилетнего Иоанна женили точь-в-точь как в опере «Царская невеста», о которой тогда никто, разумеется, ни сном ни духом. Свели девиц со всех волостей — бледных от страха, румяных от волнения. Царю приглянулась Прасковья Салтыкова — мила, приветлива, весе-

ла. По отцовской линии будущая царица пребывала в родстве с семейством нашего героя — вот так он, собственно, и попал ко двору.

У царя Иоанна и Прасковьи рождались одни только девочки, в живых остались три — Екатерина, Анна и Прасковья. Рождение царевны Анны наш герой запомнил на всю жизнь, ещё не подзревая, какую роль сыграет она в его личной истории — всё от того, что именно в честь её появления на свет семилетний отрок и был пожалован придворной службой. До того он помнил немного: детство в Москве, на Рождественке, пребывание во псковских вотчинах отца...

При царице Прасковье состояло тогда ни много ни мало 263 стольника, но вскоре после кончины государя Иоанна Алексеевича в 1696 году пришлось сократить штат и переехать в Измайловский дворец «на острове». Наш герой в ту пору потерял должность, но *своим* при дворе остался и насмотрелся там, конечно, всякого. Отец его, Никита Алексеевич, внимательно следил за обучением детей — не только сыновья, но даже дочь получали уроки на дому, осваивали польский и немецкий языки. А при дворе, как сам вспоминал впоследствии, «от набожности был госпиталь на уродов, юродов, ханжей и шалунов». Спустя многие годы один из таких «шалунов» предскажет нашему герою, что «руды он много накопает, да и самого его закопают». Он усмехнётся, не удосто-

ив шалуна ответом, — далёк был от суеверий, не по моде времени.

В его жизни, к гадалке не ходи, должно было случиться всё: открытия, измены, оговоры, перво-проходство, предательство, разочарования, барский гнев, барская любовь и, разумеется, войны. Таким уж был век. Первым несчастьем его стала смерть матери, а потом и женитьба отца на другой женщине, первой войной была Северная.

В 1704 году он в числе других недорослей проходил отбор к военной службе. Фельдмаршал Шереметев осматривал юнцов пристально, как борзых щенков. Триста из полутора тысяч признал негодными, но семнадцатилетний Василий и брат его старший Иван прошли, как сейчас сказали бы, комиссию. Отец, благословляя сынов на ратные подвиги, дал наставление, которое Василий будет помнить до самой смерти: «Родитель мой <...> сие накрепко наставлял, чтоб мы ни от чего положенного на нас не отрицались и ни на что сами не назывались».

Увы, наставление осталось тем, чем и было, — словами. Василий не отрицался от положенного, но сам вызывался и назывался на многое, что не имело к нему прямого касательства. Все отцы, умудрившись опытом и печальями, не только оберегают сыновей от лишней резвости в делах, но испытывают ещё и ревность к свободе молодости, когда можно свернуть, куда взлюбится. Но при царе

Петре Алексеевиче жизнь каждого новика была расписана далеко вперёд. Дворянская закваска, прививка придворной жизни, а потом — под Нарву, во имя Ингерманландии! Рядовой драгун Василий несколько лет служил под предводительством Шереметева, был ранен при Мурмызе в Курляндии, в 1706 году получил чин поручика, но, вспоминая о тех геройских летах, упоминал с самым большим впечатлением «огненного змия», явившегося ему при Нарве. И это не иносказательное описание монаршего гнева, а вполне реальное событие, которое Василий ещё в те годы определил как падение метеорита. Небесные явления и чудеса природы, открытия науки и прорывы многоумных людей «с примеру сторонних чужих земель» занимали его всецело; он чувствовал, как не хватает ему знаний, и каждый свободный миг тратил на то, чтобы завладеть оными с помощью книг и учёных собеседников.

Через два года службы во главе драгунского полка поставили судью Поместного приказа Автонома Иванова, приблизившего к себе молодого поручика. Если бы судья давал юноше рекомендацию, то особенно отметил бы аккуратность, старание, быстрый ум и ненасытную жажду знаний (последнее, впрочем, ценилось далеко не всеми). Иванов рассказал о нашем герое Петру I, а Пётр как раз эти перечисленные качества в приближённых и жаловал.

Смена правителя на Руси всегда влекла за собой разительную перемену его собственной участи — в этом Василий убеждался много раз, но привыкнуть к сему не сподобился. Его внутреннему компасу, встроенному в характер с рождения, был созвучен дух петровских новаций. Хотя нашему герою довелось на себе испытать любовь и гнев великого царя (целован был отечески, бит собственноручно), эпоха Петра I подходила ему точно по размеру, как верно скроенный камзол.

В 1706 году батюшка Никита Алексеевич отдал Богу душу, и наследники разделили между собой имущество и владения. Василий унаследовал часть сельца Горбово Дмитровского уезда да пустоши в Клинском. Он заботится о приданом для сестры, уступает претензиям брата, в общем, ведёт себя не как подобает рачительному помещику и крепкому хозяйственнику. Хорошо, что есть небольшое жалованье за государственную службу, — нехорошо, что выплачивают его лишь время от времени... Но деньги — не его счастье, никогда он не будет знать в них свободы.

Война со шведами тем временем докатилась до величайшей своей точки — Полтавской битвы. Пётр I возглавил дивизию, а после отступления первого батальона Новгородского полка повёл в наступление второй. Шведская пуля прострели-

ла шляпу царя, тогда как Василий, бывший с ним рядом, получил серьёзное ранение. «Счастливым для меня тот день, когда на поле Полтавском я ранен был подле государя, который сам всё распорядился под ядрами и пулями, и когда по обыкновению своему он поцеловал меня в лоб, поздравляя раненым за Отечество».

Теперь, спустя столько лет, он ждёт суда, вспоминая давнюю царскую ласку, как сон, — было, не было? В тягостном ожидании решения есть время поразмыслить о былом, дать оценку содеянному. Вот и в остроге народ расположен к думам, коли не замучен пыткой.

Но в остроге Василий не был, пыток не перенёс, хотя давний недруг (и целая череда новых, плодившихся год от года) толкал его в застенки всеми недюжинными силами. Поделом тебе: учись с людьми по-людски жить, к каждому ищи дорожку, умеешь договариваться!

Он договариваться не умел. Так за всю свою жизнь и не научился.

2

— Не подскажите, как выйти на кривую дорожку?

— О, это очень просто: сначала катишься по наклонной плоскости, она и вынесет тебя на кривую дорожку, а потом напрямиком в ад. По дороге

в тюрьму не забудь про суму и никогда не говори «никогда», особенно если назвался груздём.

— Большое спасибо!

— Совершенно не за что...

Дочерей любить проще, нет нужды соперничать — зато подросшего щенка стареющий самец так и норовит вытолкнуть из тёплой конуры.

— У тебя никогда ничего не получится, можешь даже не стараться. И не пробовать. И не начинать.

— Почему не получится?

— А потому что. Старшим виднее.

В четырнадцать лет он ростом выше отца, выглядит взрослым, и девки вокруг снуют, как акулы. Собой-то хорош, но с лица воду не пить, а учится еле как. И конечно, считает себя умнее всех. Обычный, в общем, случай, ничего особенного, если не касается вас лично.

Мать к нему излишне ласкова — то по голове погладит, то денег подбросит. Зачем, спрашивается? Его бы в ежовые голицы, коленями на горюх, там прижать, здесь запретить, может, и удалось бы направить, а то растёт без руля, без ветрил, да ещё и без царя в голове.

В общем, и не растёт — вырос уже. Укатилось яблочко далеко от яблоньки, в траве затерялось. Сходство своё с сыном отец замечал редко, лицом к лицу, как говорил поэт... А были похожи, и даже сесть пытались на одно и то же место, куда бы ни

пришли. В другой семье посмеялись бы, а в этой силы уходили в ругань, крики, привычное раздражение. Отец мог и подзатыльником угостить.

Сказать, что не любил сына, — нельзя. Любят, даже если ругают. Любят, не поверите, даже когда бьют. Пока был ребёнком, проводили вместе много часов, и часы эти были счастливые. Исследовательский интерес, любовь к истории, вовремя подsunутая книжка, всё от отца, и это уже не отменишь.

Отец учился в школе № 9, одной из самых старых в Екатеринбурге, их класс водил в походы сам Модест Онисимович Клер. Сейчас в «девятку» так просто не попасть, гимназия — в списке лучших российских школ. Но тогда, в конце 40-х, сюда принимали по месту жительства, а район был суровых нравов, не смотрите, что центр города. Бывшая Щипановка — Щипановский переулок, улица Боевых дружин, родовое гнездо семьи, тоже относилась к «наделу» девятой школы, и проживали там в те годы не столько интеллигентные мальчишки, сколько самые обычные, а временами и неблагополучные.

Модест Клер, известный школьникам под именем дедушка Мо — о, это была легендарная личность! Сын знаменитого Онисима Клера, швейцарца из кантона Берн, основателя Уральского Общества любителей естествознания (УОЛЕ) и Краеведческого музея. Исследователь, препода-

ватель той самой «девятки», первой в городе мужской гимназии, в начале века окончил Невшательскую академию, защитил докторскую диссертацию по палеонтологии, учил студентов в Женеве и Киеве, а потом жизнь накрепко связала его с Уралом.

Жил дедушка Мо в Университетском переулке, в доме 9 — в его квартире с утра до вечера торчали юные любители геологии и палеонтологии. Квартира — ни дать ни взять музей: старинные книжки, бесчисленные минералы и, главная приманка, страшный жёлтый зуб доисторической акулы, какие водились в Зауралье двадцать миллионов лет тому назад. С точки зрения пионеров, дедушке Мо было немногим меньше, хотя в походах об этом забывалось на счёт «раз» — бодрый Клер мог дать фору любому юнцу.

Конечно же, юные естествоиспытатели и не подозревали о том, какие испытания естества довелось пережить самому Модесту Онисимовичу: судебный процесс по «делу Клера» в 1923 году сравнивали с «делом Дрейфуса» — разумеется, в уральском масштабе. Человек подозрительного — правда, не иудейского, а швейцарского — происхождения, мало того что сотрудничал в прошлом с колчаковцами, так ещё и критически отзывался об устройстве местных рудников на встрече с иностранными коллегами из «Эндюстриель де платин». Шестнадцатого мая 1923 года

будущий дедушка Мо был арестован по обвинению в контрреволюционных высказываниях и шпионаже в пользу Швейцарии. Судебный процесс был открытым, интересующиеся приобретали билеты — или добывали приглашения. Спектакль! Защищали Клера адвокаты из Москвы, за него вступались учёные и даже сам академик Ферсман... Модест Онисимович вёл разработки месторождения уральской платины и был в своём деле лучший специалист — расстрелять такого человека, даже если и очень хотелось, было бы неразумно, вот смертный приговор и заменили пятью годами поражения в правах и двумя годами работы в школах ликвидации неграмотности при доме заключения. Суд да дело, дело да суд... Поднятый сто лет назад молоток ударит по столу в наши дни, имя не отмыть, репутацию не исправить, и вообще, люди не меняются, народ зря не скажет, а дым без огня бывает только в цирке.

В мутные воды судебных разбирательств дедушка Мо входил дважды — через пять лет его привлекли по «делу Промпартии», но и здесь обошлось малой кровью: теперь ему нельзя было покидать Свердловск, да он, впрочем, отсюда и не рвался. Станный это город — любить его вроде особо и не за что, а оставить — невозможно. Под бдительным присмотром властей дважды судимый гражданин Клер занимается подготовкой советской экспозиции для Международ-

ного геологического конгресса, ищет площадки для шахт и буровых вышек, работает над системой водоснабжения Свердловской области, курирует строительство железных дорог. А то, что вменено в наказание, — работа с пионерами в школах и детских кружках — становится его главным увлечением и радостью. Нет счастья большего, чем учить молодых тому, что любишь и умеешь делать сам.

Живое тепло увлечённости, опыт и метод сохраняются, даже когда уходит человек. Клер лежит в могиле на Широкореченском кладбище Екатеринбургa, на памятнике указано ласковое прозвище — дедушка Мо. Дети из девятой школы давнишнего поколения могли забыть правописание причастий и первый закон Ньютона, но исследовательский зуд, страсть к поискам и любовь к родной земле — в первом, главном смысле этого слова — останутся с ними на всю жизнь. Наука дедушки Мо перейдёт от отца к сыну, семена упадут в нужную почву, но прежде придётся пожать бурю, выпить до дна горькую чашу и распрощаться с надеждой (казалось, что навсегда).

Наш герой начинал, как сам будет впоследствии говорить, *с отрицательной отметки*. Неудачный старт, нулевая перспектива — таких не то что в космонавты не берут, такими пугают непослушных мальчиков: будешь плохо себя вести, закончишь, как *этот самый!* Жили на Уралмаше, где

Маша потеряла гамаши (вполне возможно, что гамаши попросту украли). С одной стороны — завод, с другой — заводь подозрительных элементов, непуганый край плохих примеров, морок тлетворного влияния. Мог бы, конечно, даже и отсюда вырулить в стан хороших мальчиков — он же по отцу еврей, хотя мать русская, *а у них, говорят, по матери передаётся*. Были бы скрипка, кожаный портфельчик, пятёрки в дневнике, *поведение — прим.*, как и положено еврейскому ребёнку.

Но с ним на эти темы никто не говорил, и о том, кто такие евреи, пришлось задуматься позже. То есть подозрения-то у него появились ещё в детском саду: кажется, воспитательница уронила слово, как монетку, и оно долго катилось на ребре. Или кто-то другой из чужих взрослых — вскользь, между делом, может, даже и не о нём говорили... Удивительное слово «еврей» — во всех языках звучит громко, даже если произносят его шёпотом.

В тринадцать лет его перевели в другую школу, и один из новых однокашников, дебил и дебиловатый, перед началом урока открыл классный журнал на странице «Сведения о учениках»: «О, к нам еврей пришёл!» Ух, как он рассердился на отца — почему тот никогда об этом с ним не разговаривал? Что может быть важнее крови? С лобовым антисемитизмом, к счастью для всех,

он в то время не сталкивался — дерзкий был, сильный, без скрипки и портфельчика. С такими происхождение обычно не обсуждают, если только в заочном порядке.

В школу ходил, как говорится, от дождя пряжаться. О серьёзной учёбе и речи не шло, такие обычно заканчивают восемь классов — и всем привет... Но читал куда больше своих товарищей, точно так же проводивших время на улице. Однажды попалась книжка (отец подсунул?) Леонида Фёдорова «Злой Сатурн» — там рассказывалось о племяннике Василия Татищева, Андрее, его необыкновенной судьбе и приключениях. Но Андрей этот проигрывал, на взгляд нашего читателя, *большому Татищеву* — вот у того была судьба так судьба! В Полтавской битве с самим Петром I бок о бок сражался, и города на Руси ставил один за другим, как книги выставляют на полках, и первым историком государства стал... Как в одном человеке соединилось столько разных талантов, почему не мешали один другому, не тянули каждый к себе, разрывая целое? Ответ нашёлся спустя много лет — не таланты мешают человеку, не разница в них, а темперамент, натура. Тёмная природа человека, неумение держать зверя на поводке... Сколько ни читай у того же Татищева о пользе умеренности и воздержания, о том, как важно оставаться в берегах, к себе этот шаблон не приложишь. Слова остаются словами, точка невозврата

превращается в фокальную точку. А в отдельных случаях — и в реперную.

Примерно в то же самое время он где-то не то прочитал, не то услышал историю о звере *мамонте* — так назывался единственный опубликованный при жизни труд Василия Татищева. «Сей зверь, по сказанию обывателей, есть великостию с великого слона и больше, видом чёрн, имеет у головы два рога, которые по желанию своему двигает тако, якобы оные у головы на составе нетвёрдо прирослом были».

Настолько впечатлился, что всё лето искал в лесах близ бабушкиной деревни зуб мамонта, о котором ходили слухи. Делал он это с уверенностью кладоискателя, который если в чём и сомневается, так это лишь в том, сколько шагов нужно отсчитать на север и сколько саженой отмерить на запад, а в наличии заветного схрона сомнений быть не может. Так и начались поиски: всю жизнь то сокровища искал, то книги, то крылья, то ветер, то правду, то справедливость. Много находил, ещё больше — терял, пока не понял, что отдавать нужно больше, чем берёшь. Но до той станции поезду было ещё ехать и ехать.

В четырнадцать лет он бросил школу и ушёл из дома — не так, как уходят многие в этом возрасте: чтобы испугать родителей или примерить самостоятельность, как одежду большего размера. Уйти, чтобы вернуться, — одно; уйти, чтобы

уйти, — совсем другое. Он выглядел не ребёнком, а мужчиной, но выглядеть мужчиной — одно, а быть им — совсем другое. Попрощался с мамой, отцу не сказал ни слова, купил билет на поезд до станции Устье-Аха — потому что название понравилось, в четырнадцать лет большего не требуется. Нумерация вагонов с головы состава, просьба провожающих освободить вагоны.

Устье-Аха — первая булавка на карте, а потом будут другие города, попытки работать, возвращение в Свердловск (но не домой и в школу), компании плохие и очень плохие, карты-деньги-два ножа, девушки красивые и разные... Несло всё дальше и быстрее, ведь если человек катится кубарем с горы, он уже не может остановиться, не видит берегов, не имеет возможности заметить, что берега эти имеются в принципе. Несколько раз его задерживали, буквально ловили за руку, но случай отводил чужую ладонь, как будто ангел за спиной подмигивал кому-то: давайте попробуем ещё один раз, вдруг остановится. Должен понять или нет?

Тюрьма маячила впереди не то как мираж, не то как город в тумане. Помаячила — исчезла, как и не было.

Когда человек переходит грань, это понимают все, кроме него. Тому, кто ступил за очерченный круг, кажется, что ничего не произошло: жизнь продолжается, а дверь закрывается только для того,

чтобы открыться. И вообще, ему всего семнадцать лет — это начало, а не конец.

Под следствие он попал за воровство, при задержании имел при себе нож. Позор семье, так всё-таки конец или начало? Ангел ответа не давал, набрал полный рот воды, в глазах стояли слёзы: предупреждали тебя, ну что, так лучше? Остановка — по требованию?

В сентябре 1979 года, когда бывшие одноклассники уезжали в первый студенческий колхоз, за ним закрылась дверь тюремной камеры. Сиди и думай.

Для родителей это был страшный удар, особенно для отца. Что бы ни говорил, как бы ни сомневался, а в сына верил глубинно, нутром. Жаль, что не показывал этого ни сыну, ни себе самому, ни тем более окружающим. Перестал общаться с друзьями, не появлялся на любимом стадионе — потому что все спрашивали о том, что случилось, а говорить об этом никаких сил не было, даже думать тяжело. Не получилось, не состоялся, проглядели парня. Теперь, конечно, только вниз, теперь тюрьма завершит то, что начала делать улица.

У большинства людей так и случилось бы, оступившемуся человеку непросто выровнять шаг. Спустя время его часто будут спрашивать о тех трёх годах, но он о них рассказывать не любит. Гордиться нечем, стыдиться, впрочем, тоже

не пристало. Было — ну и было. Шло в ход защитное отщучивание: «Попал в плен — подними руки, попал в камеру — ложись спать», «каждый интеллигентный человек в России должен хотя бы один раз посидеть в тюрьме», — но никаких серьёзных разговоров или умилительных воспоминаний. *Пожалуйста, следующий вопрос.*

Важно, скажет однажды, не ждать, что дверь камеры откроется — не плодить ложных надежд, этих сорняков отчаяния. Сам он едва ли не в первые дни заключения замыслил побег. Поменялся одеждой с другим сидельцем, продумал стратегию, граф, понимаешь, Монте-Кристо. Его поймали, долго и усердно били, потом отправили на больничку, а после перевели в одиночку, где он и провёл одиннадцать месяцев наедине с собой. Страшная это компания — полное одиночество, но, если человек молод, можно пережить и не такое... К тому же в тюрьме была библиотека, где работали две девушки (где он, там всегда девушки, даже если это тюрьма). Приносили узнику книги — сначала на свой вкус, потом уже отгалкиваясь от его личных предпочтений. Довольно-таки оригинальных, кстати говоря, ведь от человека с ножом ждёшь пристрастия к детективам, но наш сиделец предпочитал русскую классику, капитальные труды по истории и религии. Двенадцатитомник Лескова, Аксаков, Бестужев-Марлинский, Одоевский, Андреев, Соллогуб, конечно,

Пушкин, Лермонтов (как, ну как можно было написать «Маскарад» в двадцать один год?!), Тютчев, Фет...

Книги в тюрьме меняли один раз в десять дней, сил так много, а время — еле движется. Бессмертное тягучее время... Конечно, он писал домой письма, а потом вместо письма однажды получил стихотворение. К счастью, оно не сохранилось — те ранние сочинения всерьёз воспринимать невозможно, — но поэтом стал, без сомнения, в камере. И остался: разбуди ночью, спроси, кто ты, ответит — поэт. Хотя на ум приходит ещё с десятков профессий. И вообще, кажется, это не один человек, их в нём множество — а на какого попадёшь, какой стороной к тебе повернётся, Бог весть. Еврей, который изучает старообрядческую культуру и соблюдает субботу. Многие годы собирает наивную живопись, чтобы потом столь же наивно преподнести эту коллекцию городу. С одной стороны — спорт, гонки, сугубо мужские увлечения, с другой — поэзия такой нежности, что даже у циника схватит дыхание. Женщины выются то мошкой, то рыбьей стаей — против Бэтмена-поэта не устоять. Ясно же, что спасёт, поймают, когда будешь падать, вывезет на своей шее куда просила, поддержит, не соврёт ни о чём, а по пути прочтает стишок. Каждая будет так думать, и каждая будет права. Ошибка в другом — даже любовные, семейные узы всё равно тюрьма. А в тюрьму

больше — нет, хорошего понемногу. «Когда за дверь своей тюрьмы на волю я перешагнул — я о тюрьме своей вздохнул», — это сказал совсем другой поэт.

Ещё не раз и не два его будут пытаться закрыть — в разных городах большой страны. Однажды приведут на полиграф, и он заснёт во время исследования — «сколько работаю, никогда такого не видел», признается поражённый эксперт.

Но это когда ещё будет — и будет ли вообще, бабушка надвое сказала. Пока что он сидит в одиночке на 22-м посту, читает чужие стихи и пишет свои. В карцере, после того незадавшегося побега, наблюдал через решётку за смертниками. В восемнадцать лет получил урок, которого иным не постигнуть и за полвека. Грань между жизнью и смертью тонка, как та папиросная бумага, на которой было напечатано первое попавшее ему в руки издание Библии — тоже прочитанное в тюрьме. Когда по соседству — смерть, твоя «трёшка» кажется если не подарком, то безвредной шуткой судьбы. Приговорённые к высшей мере, его соседи (все как один убийцы) отправляли кассационные жалобы. Порядок установлен раз и навсегда: первая жалоба отправлялась в Верховный суд РСФСР, после получения отказа уходила вторая — в Верховный суд СССР. Последняя надежда — прошение о помиловании. Решение оглашали в последний

момент, накануне расстрела. В четыре утра он просыпался от шагов в коридоре. Чтобы смертники не кричали, в рот им засовывали резиновые груши.

В лагере, через несколько месяцев, его ждал полный ассортимент: видел разборки, наблюдал, как проходят этапы, но самое тяжёлое, оказалось, убедиться в том, что ты очень долго теперь не сможешь остаться один. Он сидел с диссидентами, запоминал тюремный фольклор, учился выстраивать отношения с теми, с кем в обычной жизни и говорить бы не стал, но при этом так и не начал курить и не обзавёлся даже самой скромной наколкой.

Два судьбоносных лагерных знакомства — Анатолий Верховский и Борис Перчаткин. Диссиденты, искренние христиане, попавшие в тюрьму именно за свою бесстрашную веру. Верховский — церковно-общественный деятель, устроил первое моление на Ганиной Яме, где нашли тела царственных страстотерпцев, — но это было уже после лагеря, где он сидел как антисоветчик и клеветник. Именно он, Толя Верховский, подарил нашему герою книгу знаменитого Николая Никольского о Древнем Востоке и сделал на ней дарственную надпись. Боря Перчаткин, секретарь общины христиан-баптистов, вручил ту самую, первую Библию. Половину жизни наш герой читал Ветхий Завет, бегло пролистывая Новый, —

вторую половину вчитывался в Новый, а Ветхий и без того уже знал наизусть. Всего и всегда — по два, по две, по двое. Екклесиаст сказал:

«Хорошо, если ты будешь держаться одного
И не отнимать руки от другого».

В тюрьме он стал не только поэтом, но и евреем — не по происхождению, а по ощущению. Если попытаться ответить на тот давний вопрос, что может быть важнее крови, то это, пожалуй, чувства. Их не подделать, как не подделать молодость, харизму, любовь... И дело здесь даже не в том, что он стал так вдруг гордиться своим народом (хотя и стал), — ведь если бы он носил мордовскую фамилию, мансийскую, немецкую, точно так же принял бы свои корни.

Предавать своих — последнее дело. Поэтому, считая себя евреем, он оставался ещё и русским. Никогда не отнимал руки от другого. Предки со стороны матери были выходцами с Русского Севера, жили в селе Мироново — и он ещё застал деревенский уклад, запомнил особенности говора, навсегда полюбил неяркую красоту уральской природы. Такой человек никогда не приживётся в других местах — бесполезно даже пытаться. А на других людей посмотреть, как выяснилось, можно и в тюрьме, и в лагере. Тюрьма — модель жизни в уменьшенном масштабе: здесь сыщутся любые человеческие типы. С ним сидели изобретатели, инженеры, эстонские крестьяне — не-

счастливейшие из несчастных, потому что привыкли работать честно и трудились, пока не упадут, не зная русской поговорки: «Ешь — потей, работай — мёрзни». Галерея характеров, опыт в копилку выживания, многократное обострение одних — и притупление других ощущений. Когда он освободился, отбыв свой срок полностью, то долго ловил себя на странной способности, развившейся в тюрьме: стоило любому человеку заговорить, как он понимал, что именно и в какой момент тот скажет.

Вернулся домой, к родителям. Его все ждали, даже отец (вполне возможно, именно отец его сильнее всех и ждал). Время, когда они встречались — и не говорили друг с другом, — осталось в прошлом, вошло в состав трёх важных потерянных лет.

3

Безжалостнее всех судят тех, кто не судит. Слуга Отчизны, первый русский историк, воин, просветитель, исследователь, патриот из патриотов обвинён, помимо прочего, во мздоимстве — он, снаряжавший экспедиции на собственные средства, не принимавший взяток, не заработавший за целую жизнь даже на мало-мальски пристойный дом!

Многое не сделано, многое сделано не так, как следовало, десятки проектов погребены в канцеляриях, но, как любой человек, юность которого прошла на поле боя, Василий Никитич отступать не умел. Сразу после Полтавской битвы полк его перевели в Киев, и в 1710 году он впервые участвует в *гисторической* экскурсии — ищет вблизи Коростеня «могилу Игореву». Пункты назначения меняются: Азов, Крым, Дунай, Прут, Москва. Затем — заморский вояж и повышение в чине. Был в драгунском полку, стал капитаном артиллерии, отправленным в германские страны для *присмотрения тамошнего военного обхождения* и чтобы *изучился инженерства*. Василий Никитич знает по-иностранному, любит учение и всякое новое для него явление пытается постигнуть на свой лад, а всякое заморское достижение — применить во благо России. Ещё в Прутском походе он сводит знакомство с Яковом Брюсом — приближённым Петра I, талантливым военачальником, ненасытным охотником за новыми знаниями.

Прямой предок Якова Вилимовича — король Шотландии Роберт Брюс, тот, что завещал перед смертью своё сердце Джеймсу Дугласу. Сэр Дуглас поместил сердце в шкатулку и повёз его на Святую землю, чтобы захоронить в нужном месте, — но угодил в жестокую схватку с маврами и бросил шкатулку во врагов, воскликнув:

— Сражайся, храброе сердце!

Мавры были разбиты, сердце Брюса вернулось в Шотландию, потомок же его при Кромвелле бежал в Москву, где и родился Яков Вилимович, сердцу которого суждено было навсегда остаться в России. Генерал-фельдцейхмейстер, участник самых крупных сражений Северной войны, он был выдающимся учёным. Математик, физик, географ, минералог, ботаник, механик и астроном, человек «елико высокого ума, острого рассуждения и твёрдой памяти <...>, к пользе российской во всех обстоятельствах ревнительный рачитель и трудолюбивый того сыскатель был, <...> многие нужные к знанию и пользе государя и государства книги с английского и немецкого на российский язык перевёл и собственно для употребления его величества геометрию с ызрядными украшениями сочинил...». Кабинет древних медалей, монет, руд, других природных и хитросочинённых математических диковин, астрономических инструментов, не говоря уже о библиотеке в немалом числе книг, Брюс передал *мимо родного племянника* и для пользы *общей* в императорскую Академию наук, ну а для нашего героя он стал звездю путеводною, образцом для подражания, важным собеседником и, можно предположить, другом.

Разглядев в Василии Никитиче многие таланты, Брюс приблизил его и взял с собою в один вояж заморский, а спустя год — и в следующий.

Берлин, Дрезден, Бреславль — капитан артиллерии обучается основам самых разных наук и закупает книги по строительству, геометрии, артиллерии, оптике, геральдике, философии и другим дисциплинам, столь же мало связанным одна с другой, как перечисленные выше. Брюс нанимает за морем мастеровых и закупает картины, Василий Никитич выполняет его поручения и сдаёт экзамены: от одного такого экзамена чудом сохранился чертёж крепости с пометою «16 мая 1716-го начертал Василий Татищев». «Будучи за морем, выучился инженерному, и артиллерийскому делу навывчен», — говорилось в приказе Брюса о производстве способного капитана в инженер-поручики артиллерии и приёме в первую роту артиллерийского полка Главной полевой артиллерии с жалованьем в 12 рублей.

Несколько лет шло обучение в Европе, а в перерывах приезжая домой, Татищев устраивал личные дела. В 1714 году он женится, к сожалению, неудачно. Вдова Авдотья Андреевская досталась ему весёлая: родила дочь Евпраксию и сына Евграфа, а потом загуляла, да ещё и с духовным лицом, игуменом Раковского монастыря. В отсутствие мужа с именем управлялась столь же легкомысленно, сколь и с его честным именем: упускала из виду хозяйство, распродала вещи, жила лишь в своё удовольствие. Василий Никитич супругу любил, но сам же с горечью призна-

вал: «Любовь часто так помрачает ум наш, что мы иногда наше благополучие, здоровье и погибель презираем». Только лишь в 1728 году Татищев подал в Синод прошение о расторжении брака — упоминал прелюбодеяние и расточительство жены. В 1716 году он ещё веровал в святые узы брака, занят же был тогда выполнением очередного задания Брюса — подготовкой практической планиметрии.

Определить роль личности в истории порой бывает проще, нежели определить самый род занятий этой личности. Всем известный портрет Татищева в напудренном парике — брови птичкой, нетерпеливая усмешка, внимательный взгляд... Ещё секунда — и сбежит от художника в свою библиотеку, к недописанным трудам, нерешённым проблемам и непознанным явлениям. Государственный деятель, мыслитель, полевой командир, птенец гнезда Петрова, враг Демидовых и близкий друг Кантемира, основатель Екатеринбурга, Перми и Ставрополя-на-Волге (ныне Тольятти), царедворец, диссидент, хранитель чистоты русского языка, обвиняемый по делу о мздоимстве, он был прежде всего — господин исполнитель. Сейчас сказали бы — первый зам. Прораб истории. Правая и левая рука монарха. И рука та, вопреки наветам, руку не мыла, но неустанно тащила в Россию новые открытия, мастеровитых людей и умные законы из *европских стран*. В любую задачу,

поставленную перед ним Петром I, позднее — Анной Иоанновной, Екатериной, Елизаветой, — Татищев погружался с головой, помышляя при этом только о пользе Отечества. Самому было нужно не так и много — к роскоши не привык, деньги тратил в основном на книги, но и библиотеку свою подарил в конце концов Екатеринбургской горной школе. Работая над практической планиметрией (а точнее, геометрией), Василий Никитич исписал сто тридцать листов, но закончить труд ему не позволили. Не потому, что интерес пропал, а потому, что господ исполнителей в России всегда нехватка. Татищев, жалея неоконченный труд, отправил тетради в Академию наук — но опубликованы они не были. Лишь один опус увидел свет при жизни Василия Никитича, хотя написал он столько, что не всякий сочинитель рядом встанет, — «Сказание о звере мамонте» было издано на латинском языке.

Универсальный солдат, Татищев брался по высшему велению за самые сложные и разнообразные задачи, не пасуя перед неведомым, но завершить дело ему всякий раз не давали, потому как находилось другое, ещё более сложное, а главное, срочное! Он выполнял задания добросовестно, но всякий раз — по-своему, не как предписано, а так, как почитал верным. На его стороне были многие знания, опыт, терпение и смелость, а против сражались неумение ладить с людьми, излишняя

доверчивость и, как ни странно, чисто фаустовская страсть к наукам и познанию мира. Он брался за многое сразу, хватал за уши десятки зайцев и тянулся за жаворонком, упуская синицу. В начале года, отмеченного двумя единицами и двумя семёрками, на плечи Татищева возложили работу по строительству Оружейного двора в столице, а двумя месяцами позже направили в Кёнигсберг — с предписанием навести порядок в расквартированных дивизиях и проследить, дабы каждому человеку было сшито «по камзолу, по кафтану». Прораб истории превратился в завхоза и взялся за дело со всем возможным тщанием — выяснил, что *сукны дешевле в Гданьске*, тогда как сапоги и штаны выгоднее делать в Кёнигсберге. Пятнадцатого июня Татищева перебрасывают в Торунь для исправления артиллерии. Сказано — сделано. Господа генералы довольны весьма. «Порутчик Татищев человек добрый и дело своё в моей дивизии изрядно исправил», — пишет генерал Никита Репнин, комдив. Василий Никитич по-прежнему *спомочествовал* Брюсу, покупая для него не только книги, но и вина и цитрусовые деревья, а попутно то хлопотал за русского бомбардира, угодившего под арест, то уговаривал пушечного мастера Витверка поработать на Россию, то осматривал и оценивал артиллерийское снаряжение погибшего русского корабля. («Когда вы всё успеаете?» — пискнула бы в этом месте журналистка из

нашего времени.) В январе 1718 года Татищев исследует по высочайшему приказу Аландские острова, а через год по указу Брюса и велению Петра приступает к «землемерию всего государства и сочинению обстоятельной российской географии с ландкартами». Выполнить такое дело без должной подготовки — не по его характеру, он ещё в самом начале понял, что «без достаточной древней гистории <...> производить невозможно». Так начиналась главная работа Татищева — сочинение «Истории Российской».

К тому времени уже с год существовала особая коллегия для руководства горной промышленностью — Берг-коллегия, во главе которой стоял Яков Брюс. Государство держит курс на управление промышленностью, во все концы империи разосланы уполномоченные — кто в Тулу, кто в Сибирь. Василий Никитич Татищев отправлен высочайшим указом на Урал, в помощь саксонцу Иоганну Блиеру, исследователю и рудознатцу, пробывшему в сих дальних краях свыше двадцати лет. Татищев о местах этих имел понятия приблизительные, но в путь собрался без промедлений. Предписывалось ему вести бухгалтерию, нанимать работников, решать споры, вспыхивавшие здесь с той же частотой, с коей местные люди находили сокровища в недрах. Двадцать шестого мая 1720 года Татищев, Блиер и другие участники экспедиции отплыли на струге из Москвы в Ниж-

ний Новгород, 11 июля были в Казани, 30-го — в Кунгуре. Неизвестно, что делали по дороге спутники Василия Никитича, он же привычно исследовал артиллерийское хозяйство городов, оценивал состояние медных плавилен, общался со старателями, с пленными шведами, среди которых обнаружили лекарь, географ, а также «искусный химикус Ригель», по несчастью, сидевший в остроге за убийство. Татищев занимался тяготными для него розыскными делами, отписывая в Берг-коллегию донесения: «ныне же обыватели, видя, что им тяготы никакой нет, приходят свободно и с охотою руды являют, и хотя не всегда годные, однакож мы с ласкою их отправляем, дабы тщились лучше искать». В Кунгуре («город деревянный, весьма ветх и обвалился весь...») Татищев открывает школу для здешних дворянских детей, а впрочем, он считает, что и подъячих следует учить горным делам. Школьное дело он тоже изучал в *европских странах* и всю жизнь считал недостаток образованных людей главной язвой Отечества. Здесь же, в Кунгуре, по приказу Татищева каждый базарный день читали отныне вслух Берг-привилегию: «Против же того тем, которые изобретённые руды утаят и доносить об них не будут или другим в сыскании, устройении и разширении тех заводов запрещать и мешать будут, объявляется наш жестокий гнев, неотложное телесное наказание и смертная казнь и лишение всех

имений, яко непокорливому и презирателю нашей воли и врагу общенародные пользы, дабы мог всяк того страшися».

Дела попутные, как оным свойственно, мешали главному, отвлекая силы и внимание, но по-другому действовать капитан артиллерии попросту не мог. Лишь 29 декабря Татищев и Блиер прибыли в Уктус, где находился в ту пору главный железоделательный завод. Увы, пребывал сей завод в запустении — несколько лет назад его пожгли башкиры, доменная печь стояла в бездействии, да и речка Уктуска была мелковата для такого предприятия. В последнюю ночь 1720 года Татищев решил, что нужно строить новый завод на соседней, мощной реке Исети, а в первый день 1721 года уже дал поручение приискывать новое место. Выбрали аж целых три, господин исполнитель сам ездил осматривать *месты*, несмотря на то что «за зимнею погодою основания земли видеть не можно».

Люди, живущие в большом городе, изо дня в день смотрят на окружающий пейзаж, как в зеркало: привычно, знакомо, понятно, и невозможно вообразить, что когда-то здесь были река и лес, *пустые места*. Ни храмов, ни домов, ни светофоров — а только река и лес, лес и река. Капитан артиллерии Василий Никитич Татищев мёрзнет на студёном ветру, вглядываясь в будущее, как в туманный кристалл: здесь встанет огромный завод, крупнейший в России, при нём, конечно, город,

непременно чтобы ярмарка, а дальше... дальше — не разберёшь. Кто-то станет здесь жить, трудиться, управлять этим городом, бороться с погодой (точнее — с непогодой).

Несколько месяцев работал Татищев над новым проектом, старался писать убедительно, доказывал и отстаивал преимущества — и отправлял донесения в Петербург с особым курьером. Но Берг-коллегия не спешила с ответом, и тогда Татищев на свой страх и риск начал подготовительные работы: он нанимает людей, велит расчистить берега от леса, готовит чертежи завода и составляет подробную смету. Доказывает с цифирью, что строительство новой плотины на Исети обойдётся дешевле, чем восстановление старой на Уктуске. А между делом основывает при Уктусском заводе Горную канцелярию, организует почтовую связь между Вяткой и Кунгуром, вступает за купцов, чтобы пропускали тех в Ирбит на ярмарку, открывает при заводах школы, благоустраивает дороги... Весной появляются первые избы будущего Екатеринбургa, а в конце мая приходит долгожданный ответ Берг-коллегии:

«Железных заводов вновь до указа строить не велеть, а производить ныне и старатца всеми мерами серебряные, и медные, и серные, и квасцовые заводы, которых в России нет, а железных везде довольство. Також опасно в том месте железные заводы заводить, чтоб медных дровами не оскудить».

Говорят, что целую неделю после того, как ударил господина исполнителя сей бумажный обух (весом тяжелее чугунного), не отдавал он приказу прекратить работы по строительству города. Медь медью, но наивысшая потребность государственная, считал Татищев, будет за производством железа. Как всегда, он оказался прав через время.

Город на выбранном Татищевым месте постройт спустя полтора года Георг Вильгельм де Геннин, немецко-голландский генерал-лейтенант, личный друг Петра I. Новый завод будет пущен 18 ноября 1723 года, а город нарекут в честь царской супруги Екатеринбургом. Татищеву достанется отвечать под присягой, почему не пытался основать новых заводов вместо Уктусского, и он, справедливо обиженный, примется доказывать, что как же, вот же, отправлял многожды донесения с чертежами в столицу! Увы, большую часть курьеров на пути перехватывали по приказу могущественного врага Василия Никитича, чьими стараниями и сидит он теперь в Петербурге, ожидая суда и следствия.

4

Обнулить счёт, начать сначала, убрать три года жизни в дальнюю ячейку памяти — не забыв ни об одном дне этих лет. Поработать слесарем-сборщиком на заводе, окончить вечернюю школу и по-

ступить в университет, конечно, на исторический, разумеется, через рабфак. К иностранным языкам способности оказались приличные, и хотя английский он так в полной мере и не освоил, но понимал его, а читал так и вовсе красиво. Переводил, как все прочие студенты, безразмерные и бесконечные «тысячи знаков», спотыкался на поговорке «*He that has an ill name is half hanged*» — «Тот, у кого дурная слава, наполовину казнён».

Дурная слава (— Он что, судимый? — Хуже, девочки, сидевший!) бежала впереди, как ей и свойственно. Проще было бы не разочаровывать окружающих, а идти по кривой дорожке дальше: каждому приятно в очередной раз убедиться в том, что люди не меняются и что яблоко, упавшее далеко от яблони, непременно стнёт.

Но если ты уже выбрался с петляющей тропинки на магистраль, назад и смотреть не захочется. Может, дурная слава прогорит, как клочок ткани, который сжигают перед новым понтификом в знак тленности всего земного. И тогда все, даже отец, убедятся в том, что можно заслужить прощение, а с ним — и признание. И добрую славу.

Но это только «глория мунди»* вспыхивает и гаснет, а «мала фама»** неистребима, как раковая

* *gloria mundi* — мирская слава (лат.).

** *mala fama* — дурная слава (лат.).

клетка. Кажется, что столкнуть одну с другой невозможно — они мчатся по разным путям, как скорые поезда из школьных задачникков.

Можно прийти к доброй славе, став великим поэтом или знаменитым учёным, государственным деятелем или прославленным спортсменом. Долгие годы он примеряет одно призвание за другим, а сам, не снимая, носит плащ вечного студента. Поступил — в 1985 году, окончил, вообразите, в 2003-м! На юбилее Уральского университета, через долгие, до краёв полные событиями годы, сам посмеётся над собой: я лучше всех знаю университет, потому что учился в нём почти двадцать лет! И публично вспомнит давнюю историю о том, как его хотели исключить из комсомола ещё на первом курсе.

В комсомол приняли на заводе и даже предложили стать секретарём комсомольской организации. Он опешил: да как же, я ведь только что освободился? Ну, вот и будешь *освобождённым* секретарём. Этот узор не сложился, а исключение из комсомола тогда означало исключение из университета. Одна из причин — стихи. Писал он их в те годы помногу, расходились сочинения по всему вузу. Задел грубой эпиграммой однокурсницу, дочку директора военного завода, которая собралась вступать в партию, на каждом углу рассказывая о том, в каком гробу видит родную страну. В довесок собственная несдержан-

ность подвела — поделился с любимой на тот момент девушкой смелыми мыслями, а она стукнула куда надо. Забресжил знакомый сюжет — с вещами на выход, но его отстоял тогдашний комсорг, а нынешний ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Играл в волейбол, лихорадочно писал стихи, а потом перед ним вдруг появилась, как открывая дверь, старинная икона. И мир изменился.

Уральские старообрядцы, в чьих схронах Василий Татищев разыскивал древние книги, писали дивной красоты иконы. Странные, яркие краски, подходящие скорее Фра Беато Анджелико, нежели суровому православному канону. Золота столько, что глазам больно. Множество фигур, и каждый лик не похож на другой, хотя малы — без лупы не разглядишь. На горных заводах Урала — своя иконописная школа, и для уральцев то был особый знак: «Наши писали». Невьянская икона долго оставалась лакуной в искусствоведении — о Невьянске если и говорили, так только как о демидовской вотчине, где наклонная башня: крепится не хуже Пизанской!

Поразительное это явление — икона. Портрет, собеседник, чудесный образ, с одной стороны, предмет искусства и вложения денег — с другой. Разыскивать и собирать иконы, изучать и реставрировать (руками специалистов) — отныне это

станет важной частью жизни. Его личная библиотека составлена наполовину из книг по иудаике, наполовину — по русской истории и иконописи. Другого разорвало бы пополам от противоречий, этот будет крепко стоять одной ногой в христианстве, другой — в кровной религии, как между Европой и Азией (что, впрочем, для екатеринбуржца не проблема).

В 1985 году лекции у будущих историков в УрГУ читал Анатолий Тимофеевич Шашков — легендарный медиевист, яркий учёный, блестящий лектор. «Инока Епифания ничто не могло удержать от того, чтобы говорить правду, — рассказывал Анатолий Тимофеевич. — Ему отрезали язык, но язык, ребята, отрос у него заново!» Аудитория молчит, как будто сами все разом лишились языков. Наш вечный студент видит перед собой не лектора и не знакомую аудиторию истфака, а живых протопопа Аввакума с иноком Епифанием: людей, готовых пойти за правду в огонь в буквальном смысле слова и ничего не при этом не боявшихся — потому что Господь вернёт им то, что отняли люди. Наука и здравый смысл объясняют чудо по-скучному — скорее всего, инок научился изъясняться при помощи обрубка языка, ну да не в этом соль. Наш герой читает «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» с такой скоростью, как будто опасается, что книгу у него отнимут.

Он превращается в историка, не окончив университет, становится исследователем без диплома и начальником экспедиций без полномочий. Худлит его интересует мало — мальчишеская неприязнь к диалогам, пейзажам и чужим измышлениям остаётся на всю жизнь, как имя, прошлое и, разумеется, дурная слава. Его рассудку нужны документы, источники, подлинники. А сердцу хватает стихов, чужих — и своих. Пишет он только тогда, когда в жизни происходят по-настоящему сильные потрясения. Стихи для него — способ вывести эмоции наружу, принять решение, дать обещание. Поэтому при всех его бурных романах, которые обсуждал весь город, у него практически нет любовной лирики. Его лирический герой занят единственной проблемой — соотношением своего «я» и целого мира (которого всегда мало):

Не выдержал сказать, но тем не успокоюсь,
Я многого не смог, но мучает одно.
Смотри, который раз я набираю Скорость
Хоть оторви штурвал — взлететь не суждено.

Мысль, образность и ритм — три великих столпа поэзии, но, увы, мало кто может предъявить полный список. Проводник нашего героя в первую очередь мысль. Поэзия для него — способ найти своё место в мире, преодолеть ситуацию с помо-

щью речи — как тому герою, у которого нет меча, зато осталось слово. Поэтому он не там, где Пушкин и Лермонтов, а там, где Державин и Радищев...

Впрочем, первое стихотворение — «журнальная публикация», как с гордостью говорили в то время, в «Авроре» 1987 года — было грустной шуткой:

На дворе скворец клевал
И крошил табак
На тарелочке лежал
грустный пастернак

Доносился ветра свист
веточки дрожали
и упал с берёзы лист
его ференц звали

А над речкою стоял
невесёлый парк
по дорожке там шагал
его звали марк

А скрипач играл играл
спрятавшись на крыше
и шагал себе шагал
выше
выше
выше

Имя поэта — Евгений Ройзман — набрано серьёзным чёрным шрифтом. Потом ещё и гонорар прислали — целых шесть рублей. Первые признания, публикации — пусть даже в газетах — окрыляют, а ему чего больше всего не хватало, так это крыльев. В одном из лучших своих стихотворений признавался:

Я оторвался от земли
До неба я не дотянулся
И весь в отчаянье проснулся
Но оторвавшись от земли
На землю снова не вернулся

Теперь на землю мне не встать
Я сразу в петлю как устану
Но наяву ходить не стану
Когда во сне умел летать

Никаких сделок, никаких компромиссов — пусть лучше ничего не будет, чем обыденность. Мечта должна сбыться с точностью до мельчайшей детали, он готов — и умеет! — ждать. Знает, когда пройдёт час и наступит то самое время, — вот тогда, не раньше и не позже, возьмёт своё: «Моё! — сказал Евгений грозно...»

Но в конце концов он перестанет писать стихи. Издаст спустя годы небольшой сборник, соберёт восторженные отклики поклонников и ре-

цензии с терминами «просодия», «интенция» и «предтекст». Сам будет перечитывать далёкие теперь уже строки, не понимая, как он их сочинял. Судьба уведёт его далеко от стихов, много позже пальма первого уральского поэта достанется другому.

Свердловск был городом большим, Екатеринбург оказался маленьким. Даже замолчавший поэт продолжает измерять свою жизнь стихами, в этом — трагедия, в этом же — спасение. Как та хозяйка умершей собаки, что продолжает гулять вечерами на том же пустыре, но с пустым поводком, он много общается с поэтами и, конечно, знакомится с Борисом Ръжим, печальным певцом Свердловска, который писал тогда «парные, ещё пенившиеся стихи». Поэт Ройзман и поэт Ръжий близки, сказал бы, поправив очки на переносице, умный филолог, *контекстуально и семантически* — хотя сравнивать одного с другим дурной тон. Ройзман поднялся до середины лестницы, Ръжий перемахнул через три пролёта, но, оглянувшись, упал — и разбился. «До чего же удобно устроен сей мир, всё в нём в рифму: играем, умираем». Никогда не оглядывайся, просто иди — и смотри. Можно надеяться, что когда-нибудь стихи вернутся, что снова заявят о себе, как выразился Набоков, «звонкие души русских глаголов», можно тешить себя мыслью, что *тожемогбыстатьвыдающимсяпоэтом*, а можно довериться течению

жизни — потому что оно вынесет именно туда, где ты больше всего нужен.

Ройзману невероятно везло с людьми, вот уж воистину — «судьба Евгения хранила...». Везло с друзьями, наставниками, женщинами, учителями, коллегами, случайными попутчиками. «Везёт, — ухмыльнётся народная мудрость, — тому, кто везёт». Никто не спорит, но всё же не каждому удастся так переписать свою жизнь — превратить исчерканный помарками черновик в подарочное издание книги о собственных успехах. Сделать это лишь своими силами не сможет даже былинный герой, да Ройзман и не скрывал, скольким людям обязан. Где мог, благодарил, вспоминал, старался помочь в ответ — не ради благодарности, он её «в булавку» не ценит, а просто потому, что так надо. Откуда эта внутренняя уверенность в том, что надо — именно так, не иначе? Да оттуда же, откуда гордая привычка говорить только правду, а если правду почему-то сказать нельзя — молчать. Усердно и упрямо молчать, как инок Епифаний с отрезанным языком, ещё не овладевший заново искусством речи. Иногда молчание — лучший и самый понятный ответ, поэтому, если вам не ответили на вопрос, будьте уверены в том, что разночтений здесь быть не может. Всё именно так, как вы боялись думать.

Исправить минус на плюс легко только в школьной тетрадке, в жизни действуют иные правила.

Девяностые годы ввалились в дом и тяжело дышали, оглядывая оторопевших хозяев: просили перемен? Берите сколько влезет! Роман с университетом временно окончен, вместо свидетельства о разводе — заявление на академический отпуск. Но не волнуйтесь — *he'll be back*. В городе появляются вагончики с видеосалонами — можно поглядеть в глаза Шварценеггеру или увидеть, как играет скулами Жан-Клод Ван Дамм. Всё меняется, но выглядит по-прежнему серым — как в бракованном калейдоскопе, куда по ошибке вложили обычные стёкла. Друзья оперируют словами «бизнес», «договор» (ударяя по первому слогу, как молотком по столу) и «предприятие», вот и Ройзман создаёт на пару с компаньонами собственную фирму, «Ювелирный дом». Он любит и ценит красивые вещи с историей, и, пусть вкус его не всегда безупречен, чутьё выводит к правильной дороге, а там его подхватывает под руку опыт. Он оказывается на удивление деловым человеком, вникающим во все процессы производства, вплоть до химических (как здесь не вспомнить Татищева, истово увлёкшегося производством меди). Но правило не отнимать второй руки соблюдается неукоснительно: он всё так же изучает иконы, но, руководя бизнесом, зарабатывает первые серьёзные деньги. Мама радуется за него больше всех, и отец, кажется, начинает гордиться: мыслимое ли дело!

В 1997 году выходит в свет альбом «Невьянская икона»: тираж пять тысяч экземпляров, среди авторов — коллектив учёных, Ройзман — инициатор, один из составителей каталога и тот, кто за всё заплатил (издание книг такого рода — дело очень и очень недешёвое). Работу оценили высоко, всех, кто трудился над альбомом, удостоили премии — за единственным исключением. Угадайте, кто остался без награды? Другой бы огорчился, притаив в душе обиду, этот затевает открытие в Екатеринбурге музея невьянской иконы. Коллекция собрана такая, что ею должен любоваться не отдельно взятый человек, а каждый, кто пожелает. Вход в музей будет бесплатным — это важно. И чтобы при нём работала реставрационная мастерская и выходили научные издания, посвящённые иконе, — непременно!

Почти в то же самое время Ройзман становится одним из основателей Фонда «Город без наркотиков». Печальные лики святых с одной стороны, рыла наркобарыг — с другой. Переплёты древних книг — и наручники, которыми приковывали наркоманов: «скованные одной цепью». Картины уральских художников, с которыми он дружит долгие годы, поддерживая их, издавая альбомы и собирая выставки, — и жуткие фотоснимки погибших от наркотиков детей. Долгих пятнадцать лет Ройзман будет спасать свой город, с головой погружаясь в подлую, грязную среду, где барыги,

наркоманы и продажные менты чувствовали себя вольготно, как рыбы в воде, которые, впрочем, не догадывались о том, что плавать им осталось недолго.

Конечно, он сражался не в одиночку, и ему это потом припомнят: дескать, Фонд сделал его народным героем, тем Ройзманом, который стал вначале депутатом, а потом — главой Екатеринбургa. Вполне возможно, без Фонда не было бы Ройзмана, но и без Ройзмана не было бы того Фонда, который остановил наркокатастрофу и спас жизни тысяч и тысяч людей. И город остался бы «с наркотиками», и не было бы у Екатеринбургa своего рыцаря. Прежде чем стать депутатом и мэром, Ройзман превратился в местночтимого героя, уральского Бэтмена. Именно его упрямство и вера в истину, его харизма, трудолюбие и напор превратили «Город без наркотиков» в то мощное оружие против зла, которым Фонд стал едва ли не в первые месяцы своего существования. Общественное мнение и земная слава проявляют редкую коллегияльность, выделяя Ройзмана из всех, кто работал в Фонде. Все большие молодцы, но героем, как всегда, стал лишь один. «Я тоже хотел бы стать таким офигительным еврейским богатырём», — вздохнёт один известный сочинитель, разглядывая Ройзмана на телеэкране.

С годами в нём утверждается вьедливость учёного, для которого нет несущественных деталей.

Он педантично выпускает бюллетени Фонда, ведёт дневники в Интернете — и неожиданно открывается с новой стороны: стихов по-прежнему нет, зато появились рассказы. Байки, скажет одна пописывающая дамочка, а на самом деле — правдивые истории из жизни, где не было потребности в вымысле. Каждая такая байка легко превращается в притчу, а у самого Ройзмана к любой ситуации найдётся подходящий случай из прошлого. Через несколько лет по просьбе жены он издаст книгу «Невыдуманные рассказы», предисловие напишет Михаил Веллер.

Фонд требует полной отдачи, настают «вечные», как сказал великий писатель, «сумраки физического изнеможения», сгущается недовольство властей — потому что работал Фонд не по правилам, а так, как было эффективнее... Спасение — в книгах, любимых иконах, картинах... После выхода альбома «Невьянская икона» историк Виктор Иванович Байдин, научный руководитель издания, посоветует Ройзману завершить начатое в 1984 году дело — получить высшее образование. Он сдавал экзамены в общем потоке, защищался публично и на «отлично», и, когда получил диплом, радовался едва ли не больше, чем когда был принят в Союз писателей. Впоследствии, уже на посту мэра, Ройзману придётся отбиваться от оговорщиков: у главы города нет высшего образования, а диплом наверняка фаль-

шивый! Дело решали в суде (точнее, было несколько судов), и университет отстоял своего долгоиграющего выпускника. Интеллигенты в очках писали письма на имя президента, собирали подписи в защиту, в общем, не отступили там, где от него отвернулись бывалые (и, к сожалению, бывшие) друзья.

Тем временем Фонд становится чуть ли не главным брендом Екатеринбурга. В городе, что ни день высаживается новый десант иностранных корреспондентов, и каждый хочет видеть Ройзмана Е.В. Он встречается и общается со всеми, кто приходит, иногда в ущерб себе. Не зря ему так нравятся наивная живопись и невьянская икона: он в полном соответствии своим вкусам наивен без всякой меры, он подставляется под удар и стремится помочь каждому, кто об этом просит. Комплекс героя, синдром недолюбленного сына, а может, просто характер. А может, он наконец понял, что настало время отдавать долги — вернуть то, что взял когда-то давно...

Заезжие знаменитости — артисты, политики, писатели — все как один являются в музей «Невьянская икона». Город наводнён машинами, украшенными наклейками в поддержку Фонда. А Ройзман в 2003 году получает не только диплом о высшем образовании, но и удостоверение депутата Государственной думы и приз в личном зачёте чемпионата России по внедорожным гон-

кам. «Как вы всё успеваете?» — пискнет и здесь журналистка, мысленно взывавшая к Татищеву. А вот так — за счёт жадного интереса к жизни, интуиции и предельной концентрации внимания. Чтобы каждый день был не как лишнее слово в строке, поставленное ради размера, а как новая взятая (или назначенная, что суть одно и то же) цель. Чтобы Бог спас от рутинности и обыденности, от повторений и скуки... Хотя бы от этого, потому, что от предательств, боли и смертей не спасётся никто. Уголовные дела против него и соратников растут подобно грибам дождливого уральского лета. Кого-то успевают отстоять, как Егора Бычкова, кого-то нет, как Евгения Малёнкина, отбывшего незаслуженное наказание. Врагов — тьма, друзей и последователей — целый свет. На улицах к Ройзману подходит каждый второй — благодарят, просят помочь, и снова благодарят, и вновь просят помочь... Глория мунди, маленький ручеёк, берущий начало из дурной славы, разливается в мощную реку.

Какое счастье, что мама успела порадоваться за него, в 2009 году её не стало. Рак. Какое горе думать о том, что болезнь эта могла стать следствием тех дней, когда нечему было радоваться, некем гордиться...

В 2013 году Евгений Ройзман выдвигает свою кандидатуру в мэры Екатеринбурга — не столько для того, чтобы взять очередную цель, сколько по-

тому что эта должность обезопасит его близких от преследований.

Оппоненты не брезгливы, в хозяйстве всё стодится, а козырной картой становится тот давний срок, отбытые и не забытые три года. Преступнику во власти делать нечего, считают враги, но город без наркотиков решает иначе. Ройзман становится мэром ровно через тридцать лет после своего освобождения из тюрьмы. Политологи в недоумении, страна в удивлении, оппоненты в нокауте, а впрочем... Подождите, ещё посмотрим, как он справится с этой работой! Быть чиновником — это не только носить костюм вместо привычных джинсов. Нужно стать частью системы, слиться с нею в экстазе, и тогда, может быть... А если грести против течения, делать всё по-своему, далеко не уплывёшь, даже если на твоей стороне мирская слава и народная любовь.

Екклесиаст сказал, что всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. Близкие друзья не смогли примириться с возвышением старого товарища, более того, углядели в поведении новоиспеченного мэра тот самый прогиб перед системой, которого не было, а был лишь выбор: работать так, как умеешь, или не делать ничего вообще.

Глава города по уставу имеет мало полномочий — об этом было известно задолго до старта выборной гонки. Должность почётная, спору нет,

но несколько декоративная: завод не построишь, порядка не наведёшь, но все шишки будут привычно валиться на голову мэра: мы за тебя голосовали, а на улицах всё та же грязь!

В рабочем кабинете Ройзмана висит портрет Иосифа Бродского кисти Миши Брусиловского. Из новозаведённых порядков — всегда открытые двери в кабинет, личный приём граждан по пятницам и пробежка по набережной городского пруда. Бег — это жизнь. Беги-беги, думают враги, но желающих примкнуть с каждой новой пробежкой всё больше, а в августе 2015 года проходит первый екатеринбургский марафон. Мэр одолел дистанцию с выдающимися для своих лет результатами. «Не, на полтинник он, конечно, не выглядит, — заметила бежавшая рядом девушка, — вот только поседел в последние годы сильно».

Личный приём у мэра — местный соломонов суд, куда каждый несёт свою проблему, как в сказке о волшебнике Гудвине. Кому-то нужна смелость, кому-то — защита, некоторым — чтобы просто выслушали и утешили.

И вот слёзы угнетенных,
А утешителя у них нет;
и в руке угнетающих их —
сила,
а утешителя у них нет.

После каждого приёма Ройзман с прежней скрупулёзностью заполняет страницу личного дневника, открытого в сети всем желающим. Запись от 6 ноября 2015 года:

«Юле было двенадцать лет. Она украла жвачку в киоске. Её поймали, родителей оштрафовали, а Юлю поставили на учёт в детскую комнату милиции. Потом она исправилась. Хорошо училась, окончила институт, устроилась на работу, хорошо себя зарекомендовала и пошла на повышение. Но неожиданно вмешалась служба безопасности, и повышение зарубили. Выяснилось, что она привлекалась и до сих пор стоит на учёте. Ей было очень обидно. Мало того что карьера не сложилась, ещё и все об этом узнали. А ведь десять лет уже прошло. И она мне говорит: «Ну, посмотрите, какая несправедливость! Я понимаю, что это самое начало моей жизни, и такой позор, я даже не знаю, как дальше жить. Такой стыд, такая неудача, и в самом начале». Я вдруг говорю: «Слушай, я тебе расскажу. В 1942 году на Южном фронте было очень тяжело, прибыло пополнение. И в первом же бою один восемнадцатилетний вдруг бросил оружие, заткнул уши и побежал куда глаза глядят. Его еле поймали, и военный трибунал приговорил его к расстрелу. Должны были расстрелять перед строем, но обстановка была очень тревожная, поэтому его вывели несколько человек — прокурор, представитель военного трибунала дивизии

и врач. Поставили на краю воронки, выстрелили в него несколько раз, и, когда он упал, врач зафиксировал смерть. Его толкнули в воронку и сапогами нагребли земли. Кое-как закидали и ушли. Через некоторое время солдатик ожил, сумел откопаться и пополз в расположение части. На пути оказалась землянка прокурора, и он туда скатился. Представляешь, сидит такой прокурор и с чувством выполненного долга кушает тушёнку, как вдруг на пороге возникает окровавленный покойник, которого он только что едва ли не собственными руками расстрелял и собственными ногами похоронил!.. Вой, конечно, крики, набежали все. Солдатика давай перевязывать. Всё-таки ребёнок совсем, восемнадцать лет. Что делать, никто не знает, а добить никто не берётся. Доложили председателю трибунала фронта Матулевичу. И тот распорядился: «Ввиду исключительности обстоятельств заменить расстрел сроком заключения, а всех исполнителей расстрела ввиду нарушений приказа и преступной халатности разжаловать и направить в штрафную роту». Что и было исполнено. И никого из них не осталось в живых, потому что разжалованные штабные, как правило, погибали в первом же бою. А бойца, когда немножко подштопали и подлечили в госпитале, в связи с нецелесообразностью и, видимо, невозможностью отправления в тыл, таюже определили в штрафбат и отправили на передовую, где он принимал уча-

стие в самых жестоких боях, был ранен, выжил, вернулся в строй и дошёл до Берлина. У него была медаль «За отвагу», «За боевые заслуги» и орден Красной Звезды. К концу войны у него уже выросли усы. И он всегда удивлялся тому, что его жизнь началась лишь с того момента, когда его расстреляли и закопали. Через шестьдесят лет в родной деревне его именем назвали улицу».

Юля, вероятно, впечатлилась и уж точно успокоилась.

И так — каждую неделю. Приходят и страдальцы, и сумасшедшие, и аферисты, и отчаявшиеся.

Матёрые политики посмеиваются: разве мэрское это дело, лично выслушивать каждого горожанина, впрягаться в тяжбы, как в упряжку, переводить бабушек через дорогу своими руками? Мерзкое дело — судить того, кто пытается спасти каждого просящего и не ждёт благодарности.

В 2015 году Екатеринбург получил от своего мэра подарок — Музей наивного искусства. Всю свою коллекцию, тщательно собираемую, лелеемую, ненаглядную, Евгений Ройзман передал Екатеринбургу, не рассчитывая на ответную признательность. Но главный подарок городу всё-таки не музей, а он сам — мэр, которого можно «потрогать руками». Представители власти в народ ходят редко и следят главным образом за тем, как при этом просматривается периметр. К екатеринбургскому мэру приходят запросто — он выслушает, подска-

жет, поможет. Вот так, среди прочих, к нему приходит настоящая слава, является, как те посетители, что толпятся в приёмной. Непонятно, кстати, когда он успевает их выслушивать, а может, девочки, это не один человек? Может, и вправду существует несколько ройзманов — один проводит вечера с невянской иконой и жертвует деньги на восстановление православных храмов, другой не ест трэфного и помогает синагоге, третий поддерживает художников, четвёртый открывает в городе хоспис, пятый отправляется в очередную экспедицию, шестой сожалеет о том, что не может больше писать стихов?..

Слава бежит впереди него, заглядывая в глаза, как мать бывшего наркомана, которая летела наперерез автомобилям, чтобы догнать и поблагодарить:

— Отец должен вами гордиться!

Как там у Бориса Рыжего?..

Сын, подойди к отцу.
Милый, пока ты зряч.
Ближе склонись к лицу.
Сын, никогда не плачь.
Бойся собственных слёз,
Как боятся собак.
Пьян ты или тверёз,
Свет в окне или мрак.

Старым стал твой отец,
Сядь рядом со мной.
Видишь этот рубец —
Он оставлен слезой.

5

Татищев приходил на Урал дважды. Первые два с половиной года ушли на то, чтобы вникнуть в незнакомое дело, наладить связи в интересах казны, основать новое, не уничтожив старого. Полномочий у горного начальника вроде бы немало (это вам не екатеринбургский мэр из будущего), но с местными «королями» отношения не складываются — точнее, складывается вполне определённая вражда. На Урале что тогда, что теперь пришлых не любят, особенно если те ведут себя независимо, заслуг не почитают, а поручения передают через приказчиков. Отец, сын и несвятой дух Демидовы, знаменитое семейство уральских промышленников, олигархи-первопроходцы, не спешили возлюбить капитана от артиллерии. Задолго до того, как Василий Никитич отплыл на струге из Москвы, Демидовы успешно хозяйничали на Урале: искали руду, ставили заводы, давали казне металл. Дело было налажено так, что казённые заводы проигрывали частным, демидовским, по всем статьям. Что Ни-

кита, что сын его Акинфий и сами трудились ровно каторжане, и от работников требовали такого же старания. Все свои привилегии заработали горбом и усердием, а не токмо умом да хитростью. Личный защитник Демидовых — государь Пётр I, запретивший воеводам вмешиваться в дела уральских заводчиков. Что уж говорить про обычный люд — искателей, пытающих недра земли, чужих работников или вот этого капитана от артиллерии, Татищева!

(А и фамилие у него, кстати, говорящее, нет? *Татище* — от слова *тать, вор*. И пусть потомки будут настаивать на том, что это, дескать, императив: *тать ищи* — *ищи вора*, Демидовым пришлось бы по вкусу первая, очевидная версия.

То есть, может, и не вор, но свой интерес беспреренно имеет — понеже не встречались отцу и сыну Демидовым благородные служители казны, ея преданные сторонники...)

Вот и получалось, что земля уральская принадлежала государству, тогда как тем, что находилось в ней, всецело распоряжались Демидовы. Кто попробует нарушить это правило, тот на себе испытает крутой нрав хозяев медных гор и рудных земель. Петербург далёко, почта идёт долго, курьера от жалобщиков завсегда перехватить можно.

Чуть-чуть не успели горнозаводчики прибрать к рукам казённые заводы в Алапаевске и Камен-

ске, застолбить земли по Чусовой, Тавде и Пышме — помешало тому явлению Василия свет-Никитича, который взялся за дело столь рьяно, что у Демидовых темнело в глазах. Доносили, что выбрал место под новый завод на Исети. Что поднимает старые, негодные. Что требует от всех отчётности и не спешит кланяться.

Решили Демидовы прикормить опасного капитана — намекнули через третьи руки, седьмые уши, десятые уста. Пусть, дескать, не спешит с новыми заводами и не заводит своих порядков. А уж они ему готовы дать «довольные обещания».

Да вот только господин исполнитель взятку презрел и двигался в выбранном направлении всё дальше и дальше. Демидовы принимали на работу в заводы беглых крестьян, опальных стрельцов, пленных шведов — с этим Татищев смириться мог, потому как защиту сей люд получал пожизненную, а Василий Никитич всегда заботился шибче о людях, чем о вещах. Но вот что переманивали к себе лучших мастеров, ловили и наказывали рудознатцев, отбирая найденное, что не пускали на свои земли геодезистов, велели *бить смертельно* кнутом крестьян, нанятых Татищевым для сопровождения грузов по Чусовой, что стогняли нанятых людей с нового прииска — этого горный начальник терпеть не пожелал. Вот так и поссорились Акинфий Никитич с Василием Никитичем —

заочно. Вначале перебрасывались депешами да на словах доносили одному от другого всевозможные оскорбления... Дворянин Татищев и — на тот момент пока ещё простолюдин, хоть и в короне — Демидов сцепились намертво, не видя и не зная друг друга. Никита Демидович жил тогда в родных своих тульских землях, но, узнав о масштабах розни, приехал на Урал разбираться.

Шестого июня 1721 года Татищев отправляет Акинфию Демидову Указ:

«Господин камисар Демидов

Уведомлены мы, что ты купил землю у крестьянина Чесовской слободы (Уткинская и Сулемская то ж), которую нам отдали из губернии для строения судов и во оном урочище на речке Шейтанке строишь ты пилную мельницу. И хотя оное тебе для строения судов весьма нужна, однако ж не надлежало тебе оной мельницы бес указу государственной Берг-коллегии и нашего известия строить».

А после добавляет со всею строгостью:

«Велено нам с заводов твоих доправить десятой пуд и, доправя, принять на денежной двор немедленно. Того ради по получению сего сделать тебе ведомости: колико у тебя на заводах в 1720 г. железа какова обрасца сделано или каких других припасов сковано и вылито и куда в расходе».

Но Демидов не спешит делать ведомости и закрывать строительство мельницы, а в ответе дерз-

ком сообщает, что «когда запретится из Берг-калегии указом о том строении и мы повинны будем изломать тое мелницу. А о платеже десятого пуда, когда пришлётся указ нам из Берг-каллегии, и мы тогда платить готовы».

Горный король демонстративно не замечает горного начальника — у него такие связи в Петербурге, что он может решать, как сказали бы сейчас, многие вопросы напрямую. В письмах к Татищеву Акинфий Никитич от души ёрничает: называет Василия Никитича «Вашим величеством», но капитан артиллерии отвечает сдержанно: «Что же вы меня во оном писме браните неприличною честию, ежели (Вашего величества) принадлежит токмо Великим Государям, и я оное уступаю, полагая на незнание ваше. Упоминаю же, дабы впредь так не дерзали».

Акинфий дерзает всякий раз по-разному, пока к делу не подключается его отец, лишь тогда тон писем к горному начальнику резко меняется, «прошу вашей любви», пишет Никита Демидович, но тон — не суть. Слова любезные, отношение — прежнее, вражда вот-вот превратится в тяжбу, но Татищев не подвигается и на дюйм. Медленно, со скрежетом и скрипом, как заржавевший заводской механизм, долгие годы стоявший без дела, Демидовы начинают уступать требованиям горного начальника, — но и сын, и отец, и несвятой дух лишь до поры притаивают великую обиду и гнев.

В 1722 году Никита Демидов пишет донос в Петербург — о том, как мешает уральским заводам несправедливая деятельность горного начальника. Устно же свидетельствует ещё о том, что берёт капитан Татищев взятки (не могли простить Демидовы, что не принял Василий Никитич их щедрых предложений, — и понять не могли, отчего: может, мало давали?).

Вся Россия знала, что Пётр карает взяточников без жалости — в 1721 году за казнокрадство казнён (как тут поверить, что *казна* и *казнь* — не однокоренные слова) князь Гагарин, умирает в ожидании суда приблыщик Курбатов, продолжают дела Шафиров и Меншиков.

Государственного человека проще всего обвинить во взяточничестве — так было и так будет: если пошёл во власть, значит, ищет лёгких денег. На этот козырь Демидов и ставит, а оборонять Татищева никто не спешит, даже коллеги из Берг-коллегии. Всё потому, что господин исполнитель с годами стал представлять собой независимого фантазёра, буруеваемого бесконечными идеями, да к тому же борется за чистоту-родного языка с чисто филологической одержимостью, а немецко-голландскую терминологию, принятую тогда у бюрократов, отрицает.

Пока Татищев ждёт решения суда — да не в бездействии, а в хлопотах по основанию нового медного завода, будущей Перми, — де Геннин

розыскивает о всём его деле, не маня ни для кого. А ведь давили на строгого генерала Геннина — влиятельные столичные покровители Демидовых требовали поддержать уральских королей. Но тот хоть и признавал: «я онаго Татищева представляю без пристрастия, не из любви или какой интриги, или б чьей ради просьбы, я и сам его рожки калмыцкой не люблю», а всё-таки видел «его в деле весьма права, и к строению заводов смышлённа, разсудительна и прилежна». После всесторонней проверки, допросов и выяснений де Геннин убеждается в полной невиновности Василия Никитича, а о Демидове отписывает Петру следующее: «Ему не очень мило, что Вашего величества заводы станут здесь цвезть, для того, что он мог больше своего железа запродавать, а цену положить как хотел, и работники к нему на заводы шли, а не на Ваши. Наипаче Татищев показался ему горд, то старик не залюбил с таким соседом жить, и искал как бы его от своего рубежа выжить, понеже и деньгами он не мог Татищева укупить, чтобы Вашего величества заводам не быть».

Летом 1723 года Пётр I назначил слушание дела Татищева и Демидова в Сенате, при Е.В. личном присутствии — а на реке Исети к тому времени был заложен новый город и Высшее горное начальство переименовано в Обер-бергамт (Геннин чистотой русского языка беспокоился не особенно). В ноябре, когда город получил своё имя,

розыск Геннина по делу Татищева был рассмотрен в Вышнем суде. Василий Никитич полностью оправдан, а Демидову, за то, что «не бил челом о своей обиде на Татищева у надлежащего суда, но, презирая указы, дерзнул его величество в неправом деле словесным прошением утруждать», присуждено «вместо наказания взять штраф 30 000 рублей». Даже Татищеву должны были недруги выплатить некую сумму, в знак признания вины и примирения.

Герой наш оправдан, вины на нём нет, но дурная слава взяточника тянется за ним через века — пятно так въелось, что никакие усилия историков с литераторами не помогают. Искренность, а временами и наивность Татищева поразительны не меньше, чем его преданность казне. Он пытается объяснить Петру, почему *брат* иногда нужно, ссылаясь на апостольские слова «Делающему мзда не по благодати, а по долгу...» — и получается, что сам как будто признаётся в том, чего не делал никогда, и в чём его будут в дальнейшем дважды обвинять и дважды оправдывать по всем статьям.

В сентябре 1724 года советник Берг-коллегии Татищев отправляется в Швецию для приглашения на Урал горных мастеров. В Упсальской королевской библиотеке (триста с лишним лет спустя здесь будет сидеть за столом историк Евгений Ройзман) Татищев находит «множество российских гисторий и протчих полезных книг». Покуп-

ка книг — единственная его слабость и прихоть, надежда на Петра — его самая главная надежда, но 28 января 1725 года Пётр I умирает, а Татищева переводят в Москву, на службу в Монетную контору.

Вновь новое дело, очередное полное погружение и отрыв от прежнего, к чему прикипел всем сердцем. Только в октябре 1734 года происходит второе пришествие Татищева на Урал — а в 1736 году стараниями прежних и новых недругов он выведен из игры теперь уже окончательно.

Два года прослоены делами и открытиями, нововведениями и исследованиями. Он обустроивает Екатеринбург, требует поддерживать в порядке мосты и дороги, налаживает школьное дело, рассылает «во все города Сибири» вопросник о 92 вопросах исторического, географического, этнографического содержания. В 1735 году открывают железные руды на горе, названной Татищевым в честь царствующей императрицы: «Анна» означает «Благодать». Та самая царица Анна, в год рождения которой юный Татищев был принят ко двору стольником, получает письмо из Екатеринбурга, где сказано: «Оная гора есть так высока, что кругом видеть с неё верст по 100 и более; руды в оной горе не токмо наружной, которая из гор вверх столбами торчит, но кругом в длину более 200 сажен...» Акинфий Демидов убеждает отдать ему Благодать, обещая взятку в три тысячи рублей, — лишь бы не мешал горный начальник, а все тонкости в Петер-

бурге он сам уладит. Затем является горнопромышленник Осокин — сулит десять тысяч! Василий Никитич отказал обоим — руды новой горы будут принадлежать казне, и точка. Выделил Демидовым, Строгановым, Осокину немного Благодати, а бóльшую часть железной горы оставил государству. С Демидовыми конфликт то еле тлел, то разгорался наново — из-за алтайских руд, новых месторождений, а проще сказать, оттого, что двум хозяевам на одной кухне не ужиться. К старым жалобщикам добавились новые недовольники — Татищева невзлюбил всесильный Бирон, кормившийся, помимо прочего, от уральских заводов и положивший глаз на гору Благодать. Посему произвели Василия Никитича в тайные советники и назначили главой Оренбургской экспедиции, а после судили за потраченные четыре тысячи рублей казённых денег. Но это казна была в долгу перед Татищевым: ожидая, пока выплатят обещанное, он тратил в общественных целях свои личные средства, коих ему всю жизнь не доставало.

Впереди — основание Оренбурга на верном месте (прежнее Татищев забраковал, отныне это город Орск), подавление башкирских восстаний, составление при его участии «Российско-татаро-калмыцкого словаря»... Тело стареет, но дух становится крепче, и каждый день находится время для научных занятий. Он составляет карты Яика, самарской излучины Волги, пишет «Общее гео-

графическое описание Сибири», «Предложение о сочинении истории и географии», готовит к изданию «Судебник Ивана Грозного», работает над любимой своей «Историей Российской», которая увидит свет лишь в 1768 году, и то в неполном виде. В мае 1739 года Татищева отстраняют от дел и лишают всех званий — следственной комиссии предстоит разобраться с новыми обвинениями против Василия Никитича: неверно, дескать, ведёт себя с инородцами, повинен в непорядках и главным образом во взятках. Брал, дескать, не токмо деньгами, но и коровами, овчинами и даже волчьими шкурами. Если бы могли привязать к убийствам, валютным махинациям, похищению людей, контрабанде, организации преступного сообщества, разрушению памятников архитектуры и превышению полномочий, — привязали б, но что-то нужно было оставить и потомкам.

Обвинение вновь признали несостоятельным, но и оправдывать Татищева комиссия не спешила. Пока суд да дело, отправили его в Астрахань, ведать Калмыцкой комиссией. Василий Никитич уже свыше двух лет не получал к тому времени жалованья, *претерпевал великую скупость и одолжал*, но вникал в дела калмыцкие с тем же усердием, кое запомнилось уральцам.

Английский ревизор Ганвей описывает Татищева в годы астраханской ссылки как старика с «сократической наружностью», измождённого

телом, «которое он старался поддерживать долголетним воздержанием и наконец неутомимостью и разнообразием своих занятий. Если он не писал, не читал или не говорил о делах, то перебрасывал жетоны из руки в руку».

Жаль, что и самого Татищева перебрасывали, как жетон из руки в руку, — никто не знает, чего бы он смог добиться в Екатеринбурге, проводи там больше, чем пять лет с перерывами... Но Екатеринбург остался в прошлом навсегда. Последние годы жизни Василий Никитич живёт в полусотне вёрст от Москвы, в деревне Болдино Дмитровского уезда. Пишет с истинно болдинским вдохновением «Разсуждение о ревизии поголовной», «Разсуждение о беглых муштинах и женщинах и о пожилых за побег», ещё целый ряд записок и предложений, «Духовную» сыну, заканчивает «Историю Российскую», а в 1750 году, подготовившись к собственной смерти, как к заранее известному событию, умирает. Поэт спустя многие годы скажет: «Как родился — не помню, как умру — не узнаю», но это не про Татищева. Легенда с упрямством летописца утверждает, что за два дня до кончины Василий Никитич верхом на коне отправился на кладбище — выбрал место и повелел мастеровым копать могилу. Потом вернулся в дом, призвал священника, лёг и, читая Евангелие, умер. И будто бы в то самое время прибыл гонец из Петербурга с полным оправданием и орденом Александра Невско-

го — но это, конечно, выдумка. Никто не прибыл и ордена не привёз, потому что земная слава бродила лишь вокруг да около Василия Татищева, не глядя ему в глаза. Его ценил Ломоносов, к его трудам ревновал Карамзин, о нём ходил шлейф слухов при жизни, да так и не растаял после смерти. Потомки обвиняли Татищева в преследовании раскольников и в жестоких пытках башкир, забывая о том, что обвинять следует не одного человека, а весь тот век, сколь напудренный, столь и безжалостный. Ведь тот же Вильгельм де Геннин собственной рукою приписал к словам приговора уктусскому бобылю, помилованному смертнику: «И уши обрезать» (а было и так немало — «Бить кнутом на площади нещадно и вырезать ноздри»). Такие «уши» торчат из каждого доброго дела предков, как закладки, отмечающие цитаты в книгах. «Весьма невинных людей побили»...

Сколько сделано и сколько не сделано, знал о себе только сам Татищев. Сугубый государственный с задатками кабинетного учёного, он собирал информацию, накапливал знания и создавал основу для тех, кто придёт за ним следом, — то же самое спустя века будет делать в основанном им городе Евгений Ройзман. Точно по словам Заболоцкого:

О! Я не даром в этом мире жил.
И сладко мне стремиться из потёмок,
Чтоб, взяв меня в ладонь,

Ты, дальний мой потомок,
Доделал то, что я не довершил...

А город — так что городу? Стоит, где поставили. Плоский бронзовый истукан, изображающий Татищева, дружелюбно соседствует с таким же точно плоским де Геннином: ироничная улыбка земной славы освещает Плотинку, как закатное солнце. Небо розовое, телесное, будто кто-то случайно прикрыл пальцем объектив. И чем твоя жизнь запомнится иным поколениям, до поры не знает никто — строкой ли из забытого стихотворения, сказанием о невиданном звере, новым городом, тюремным сроком или историей о женщине, которая бежала через улицу под гудки машин и мат водителей: бежала, чтобы сказать спасибо тому, кто спас её сына.

Так, и только так приходит мирская слава.
Но потом пройдёт и она.



КАК СМЕНИТЬ ПЛАСТИНКУ

- 1, 5 Владимир Мулявин — белорусский артист с Урал-
маша
- 2, 3, 4 Владимир Шахрин — строитель «Чайфа»

1

— Ну сколько можно бренчать? — сердилась мать. — Когда уже работать начнёшь?

Музыка — не профессия, а отдых, досуг. В свободное время — пой-играй, но если тратить на это всю свою жизнь, так и по миру пойти недолго. Да и не мужское это дело.

Матери-то вот не до отдыха было, муж оставил с детьми, ушёл к другой — обычная история. Пришлось самой поднимать троих, а она простая швея, много не заработаешь... Вот увидели бы прадеды — зажиточные купцы, — как бьются потомки за каждый рублик, не поверили б глазам своим. Раскулаченные, сосланные в Свердловск богатей осели на Уралмаше, и началась новая, невесёлая глава о жизни с чистого листа. Работа, работа, работа... Георгий, бывший муж, тоже любил побренчать на гитаре и Володю легко выучил. Может, она ещё и поэтому сердилась: слишком уж

много тяжёлых воспоминаний для одной женщины? Да и помощи никакой. Когда ей говорили, мальчик у вас, дескать, очень музыкальный, она рукой махала — и что с того? В ресторане играть будет или в жмур-команде? Лучше бы токарем, завод-кормилец не даст пропасть.

Володя маму слушал, да не слышал — музыка мешала. В прямом и в переносном смысле. Однажды попал в Оперный театр, на «Травиату» — и долго не мог потом в себя прийти: размышлял, где же такая страна, где живут такие люди, как на сцене? Музыкантов в «яме» разглядывал, как артистов, — если не пристальнее. Сам он к четырнадцати годам освоил гитару, домру, мандолину, балалайку и трубу, играл в подземных переходах и поездах, пытался зарабатывать музыкой. Однажды заглянул во Дворец культуры Уралмашзавода, при котором работал струнный оркестр Александра Навроцкого. Полный тёзка другого Навроцкого, русского поэта, офицера и драматурга, вошедшего в историю как автор песни «Утёс Стеньки Разина», свердловский Навроцкий был выпускником Харьковского института культуры, а ещё — бывшим политзаключённым и педагогом от Бога. Дал Володе гитару — играет. Дал балалайку — играет. Дал мандолину — играет! Стали заниматься по шесть-семь часов в день, и вскоре Володя начал играть и в коллективе Навроцкого, и в духовом оркестре модельного цеха Уралмашзавода. В 1956 году его даже по местному

ТВ показали — с балалайкой, жаль, что телевидению свердловскому тогда исполнился всего лишь год и дома далеко не у всех были телевизоры.

Мать к тому времени смирилась — ну а что ещё делать, ясно ведь, что на токаря учиться не пойдёт! Тут ещё и друг какой-то напел Володе, что в оркестре он будет получать больше, чем в цеху, вот он и подал после школы документы в «чайник», Свердловское музыкальное училище имени Чайковского. Отделение народных инструментов, класс — гитара. Гитара — класс! Профессиональных, фирменных инструментов он, конечно, и в глаза не видывал — играл на чём придётся. А слушали с ребятами-однокурсниками джаз. Паркер, Гершвин, всё, что можно было найти в те годы в закрытом городе Свердловске... Заканчивается такое всегда одинаково — наслушавшись чужого, хочется играть своё. Вот так при свердловском «чайнике» появился джаз-бэнд под управлением Володи, освоившим в свободное от занятий время ещё и фортепиано.

Бэнд, команда, группа — от людей, играющих вместе с тобой, зависит не меньше, чем от тебя, человека, который всё это придумал. К несчастью, от людей, играющих чужими судьбами, тогда, в конце 50-х, зависело всё остальное — и уже на втором курсе Володю с единомышленниками отчислили из училища. Формулировка — «За увлечение западной музыкой». Злые языки, впрочем,

говорили, что здесь не обошлось без традиционного греха музыкантов — пристрастия к алкоголю, но на каждый чих, как известно, не наздравствуешься.

Шаг вперёд, два — назад. Володя едет в Магнитогорск, пытается поступить в музыкальное училище, но получает низкий балл по литературе (безусловно, самой главной для музыканта учебной дисциплине). И здесь на сцене его жизни, пока что не ставшей просто *сценой*, вновь появляется Александр Иванович Навроцкий, добрый гений, учитель и заступник. Связи, знакомства, характеристики, доводы, запись эфира с телевидения — всё идёт в ход: благодаря Навроцкому Володю восстанавливают в свердловском «чайнике» и милостиво позволяют завершить обучение. Дело сделано — теперь он профессиональный музыкант, теперь музыка — его профессия, но что с этим будет дальше, пока что совершенно непонятно. Хорошо, что страна большая — можно уехать в Калининград или, например, в Кузбасс, Петрозаводск, Оренбург. Собрать группу, поработать в филармонии, а потом всё бросить и в очередной раз вернуться в Свердловск — для того, чтобы вновь уехать отсюда как можно дальше.

Времена не выбирают, города — ещё как. Родной Свердловск не слишком дорожил своим отпрыском, да и самому Володе не особенно хотелось жить и умереть в микрорайоне Уралмаш.

Где родился, там не пригодился — что ж, значит, надо довериться судьбе, она обязательно вынесет туда, куда нужно. Пусть и сыграет при этом на живом человеке, как на гитаре — или балалайке. В 1963 году Володю пригласили на работу в очередную филармонию — Белорусскую. Вот так он впервые оказался в Минске, не подозревая, что роман с этим городом растянется на целую жизнь. Через два года молодого музыканта призвали в армию — служил здесь же, под Минском. В первый же день, как по нотам, разыгралась рядовая пьеса с участием новобранцев:

— Кто умеет играть на каких-либо инструментах, шаг вперед!

Володя сделал шаг, в других ротах встали перед строем четверо: Владислав Мисевич, Леонид Тышко, Валерий Яшкин и Александр Демешко. Служили в разных местах, на репетиции собирались в Доме офицеров — так сложился вначале вокальный квартет, а потом — ансамбль Белорусского военного округа, а потом... Впрочем, не будем торопиться. Вначале нужно дослужить до приказа.

2

Спустя пятнадцать лет после описываемых событий молодой ефрейтор, только что дембельнувшийся из пограничных войск, запрыгнул

в вагон свердловской электрички. За те два года, что он провёл на Дальнем Востоке, электрички ничуть не изменились — прежняя мазутная вонь, ребристые сиденья и заплёванные окна: смотреть сквозь них всё равно что примерять чужие «толстые» очки. Никто не понял бы, почему ефрейтор смотрит по сторонам влюблённым взглядом — чуть ли слезу не смахнул, когда *электропоезд прибыл к станции Шувакиш*. Здесь каждые выходные сгущалась знаменитая «туча», легендарная барахолка советского Свердловска, где торговали все и всем, но нашего героя интересовали в первую очередь пластинки. Точнее, «пласты». Чёрные виниловые диски переносили меломанов в иные миры не хуже летающих тарелок. Да и попадали они в город не иначе как инопланетными путями.

Ефрейтор шёл привычной, моментом вспоминавшейся дорогой и наслаждался знакомой атмосферой, тем мощным духом охотничьего азарта, который висел над «тучей», как ещё одна туча. В кармане лежали сорок рублей, с большим трудом и сомнениями выкроенные из скромного бюджета, — увы, он и представить себе не мог, как выросли за время его отсутствия цены на пласты и какой ничтожной выглядит теперь эта сумма. А ведь и раньше за «фирму» просили немало. Стипендия в строительном техникуме, откуда нашего героя призвали в *ряды*, была совершенно нищен-

ской: 18–25 рублей, пластинки же стоили от 40 до 80! В конце 70-х они с другом Серёгой Денисовым покупали пласты в складчину, на двоих — именно так у них появились первый «Квин», «Стены и Мосты» Леннона, ещё какие-то записи. Слушали то вместе, то по очереди, переписывали, кое-что обменивали, а с чем-то расстаться не могли. Только накануне ухода в армию он распродал всю свою коллекцию — с собой не возьмёшь, а что будет через два года — никто не знает. Деньги прогуляли с друзьями, отмечая последнюю вольницу... Но когда вернулся в Свердловск, ударился взглядом о пустую полку, где стояли пластинки, и... как за сердце ущипнули! Поэтому и отправился едва ли не в первые же выходные на «тучу». С жалким сороковником в кармане.

Полулегальное торжище, «туча» ничем не напоминала традиционный рынок — кругом лес, где-то подразумевается бывшее озеро, а ныне — болото. Никаких лотков и павильонов, весов и зазывал. Продавцы крепко держат свой товар в руках или выкладывают на газетку. Покупатели ходят между рядов, стараясь выглядеть максимально незаинтересованными. И все в любую минуту готовы сняться с места, потому что милицейские облавы на Шувакише не редкость: самая большая барахолка в СССР считалась позорным пятном на чистом и светлом облике промышленного гиганта.

Ефрейтор, сжимавший в кармане свои четыре чирика (нелишняя мера — карманников на «туче» не меньше, чем «спекулей»), знал, что в музыкальных рядах легко нарваться на мошенников: они переклеивают «пятаки» с запиленных фирменных пластов на девственные диски советских ВИА и продают «Песняров» под видом «Пинк Флойд». К счастью, нравы «тучи» были ему хорошо знакомы — и он подходил не к торгашам, для которых музыка — товар, а к таким же, как он сам, пластоманам. Как определить, кто есть кто? Да очень просто — пластоман не может удержаться от подробного рассказа о диске, который продаёт. Получишь мини-рецензию, узнаешь историю группы, могут даже промычать тему главного хита...

День стоял холодный, продавцы переминались с ноги на ногу, покупатели закрывали варежками носы. Конверты с пластинками аккуратно упакованы в пакетики из мутного полиэтилена. Ефрейтор читал названия групп и альбомов — за два года он безнадежно отстал от музыкального прогресса. *Smoke, Boney M*, что это такое вообще? Спросил, почём, продавец сплюнул сквозь зубы: «Сотня». И ни слова больше — не пластоман, нет. Барыга. Проще было повернуть назад и попытаться влезть в электричку до Свердловска (составы шли переполненными, многим приходилось ехать на подножках), но наш герой пошёл даль-

ше — и ему, как всем, кто идёт дальше, в конце концов повезло. На самой окраине «тучи» продавали сборник лучших песен «Ти Рэкс». Хозяин просил сорок, но после долгого разговора и обмена мнениями скинул десятку.

Довольный ефрейтор возвращался к станции, предвкушая, как вернётся домой и бережно вынет пластинку из конверта...

— «Пятый Цеппелин» нужен? — прозвучал вдруг за спиной хриплый голос, и ефрейтор обернулся, как будто его назвали по имени.

Чувак, предлагавший «*Houses of the Holy*» группы *Led Zeppelin*, известный в народе как «Пятый Цеппелин», имел такую подозрительную внешность, что его без всяких кинопроб утвердили бы на роль преступного элемента. Глаза бегают, губы кривятся, на месте не стоит — приплясывает, разминаясь перед побегом. В руках — пластинка без конверта. Без сомнений, фирменная, но раздетая, что значительно снижает цену.

— Чирик, — чирикнул продавец.

Если это не знак судьбы, то что же тогда знак? Наш герой отдал чуваку последнюю десятку, тот ловко завернул пласт в газету «Уральский рабочий».

Через час от станции Шувакиш уходила электричка до Свердловска — в одном из вагонов стоял счастливый ефрейтор, прижимая к себе музыку. Дома, не снимая верхней одежды, бросился к вер-

таку. По всем законам жанра «Пятый Цеппелин» должен был оказаться бракованным или фальшивым — но, к счастью, не у всякого жанра есть законы. Это были настоящие, несомненные «цепы», и, слушая их, наш герой думал сразу о многом.

Возможно ли научиться так играть, если живёшь не в Америке, не в Англии, к тому же не знаешь нот и учишься в строительном техникуме? В десятом классе он играл со школьным ансамблем на танцах, тот же сюжет повторился в *технаре* — гитара, вокал, бесконечное наслушивание чужой музыки, ради чего он, собственно, и приезжал на «тучу» — что сегодня, что два года назад. Так создаётся питательный слой, из которого однажды прорастёт собственное слово и своя музыка... Но что, если не получится? Что, если под видом таланта судьба вручила тебе подделку с переклеенным «пятакон»?

Спустя четыре года, в 1984-м, во Дворце культуры имени Горького собрались четверо музыкантов, один из которых — уже известный нам ефрейтор-меломан — был монтажником СУ-20 Свердловского домостроительного комбината, другой — милиционером, третий изобрёл и смастерил панк-трубу из дыхательной трубки для подводного плавания, а четвёртый знал, чем перкуссионист отличается от барабанщика. Вадим Кукушкин, виртуоз той самой панк-трубы, однажды обронил слово «Чай-ф» — фыркающая буква была

поначалу отделена от чайного корня дефисом. «Чайфом» у наших героев назывался ядрёный напиток, получаемый при помощи заварки, всыпанной в кофеварку «Бодрость». Имя прижилось, а вот номинатор в коллективе не задержался. И вообще, состав менялся каждый год, пока не застыл наконец в почти идеальном равновесии. Этим миром владели два Владимира — автор песен Шахрин и гитарист Бегунов, по которым свердловские зрители и научились вскоре идентифицировать новую группу.

Они были самоучками — а впрочем, профессиональных музыкантов в Свердловском рок-клубе никогда не имелось в избытке, и лидерские позиции в группах всякий раз занимали обладатели других специальностей. Архитектор, инженер или, как в нашем случае, строитель. Шахрин не собирал группу — он в полном соответствии первой своей профессии её *выстраивал*. Во многом именно поэтому «Чайф» пережил лихие годы и не скончался от приступа звёздной болезни: успех складывался по кирпичику, признание завоевывалось шаг за шагом — а такая слава живёт дольше своей скоропалительной, быстрой и безжалостной сестры.

В 1986 году «Чайф» блестяще выступил на первом фестивале Свердловского рок-клуба — и артистов пригласили на первые в их жизни гастроли в Ленинград.

3

В чём, в чём, а в гастролях и народной любви у главной белорусской группы недостатка не было — в 70-х они ездили по всему Союзу, собирали награды и лавры в Болгарии, Польше, ГДР, *не вылезали из телевизора* и каждый день слышали собственные голоса не только по радио, но и из чужих открытых окон: повсюду крутили пластинки.

Почти сразу после армии Володя отрастил лишние усы и объявил о создании ансамбля «Лявоны». Название показалось властям сомнительным. Сказать про белорусов «лявоны» — это всё равно как обозвать украинцев «хохлами». Просуществовало имя всего лишь год, а новое — «Песняры» — Володя отыскал в стихах своего любимого Янки Купалы, с томиком которого не расставался. Этот вариант устроил всех — так появился первый в истории СССР вокально-инструментальный ансамбль.

Могучее слово, родное ты слово!
Со мной наяву и во сне;
Ты душу пронзаешь мелодией новой,
Звенишь, словно песня, во мне, —

эти слова Купала писал как будто специально для Володи. Впрочем, чужие люди называли его теперь солидным полным именем — Владимир

(по-белорусски — Уладзімір), а свои и прежде обращались ласково — Муля. Сокращение от фамилии Мулявин.

Успех «Песняров» накрыл волной не только Белоруссию — хватило на всю страну. В книжных магазинах отмечали резко выросший спрос на белорусско-русские словари, прежде не пользовавшиеся вообще никаким интересом. Всем хотелось понять, о чём поют эти бодрые люди в кафтанах — или как это правильно называется? Некоторые, конечно, подпевали не задумываясь — косив Ясь конюшину, косив Ясь конюшину... Сложить фольклор с рок-н-роллом, умножить классическое многоголосие на мощный звук электрогитар — Мулявину это пришло в голову первому, а дальше всё пошло как по накатанному.

В Свердловске лишь парочка людей с гордостью уточняла — главный-то у них наш, с Уралмаша! Сей факт биографии Мулявина был известен немногим, Владимир-Уладзімір считался отныне белорусским артистом. Сменить пластинку для него значило полностью отменить весь свой прошлый опыт, забыть не слишком впечатляющие эксперименты юности и погрузиться в песенную культуру новой родины. Говорят, что родину не выбирают — на самом деле выбирают, да ещё как. Минск стал для Мулявина тем, чем никогда бы не смог стать Свердловск. В белорусской столице он родился заново, здесь появилось на свет его глав-

ное детище — «Песняры». И, как любой человек, всего себя отдающий единственному делу, Мулявин не тратил времени на самоанализ — на все эти «что да почему», столь милые сердцам бездельников и дилетантов. Ему *просто жить* было некогда — он собирал фольклор в деревнях Белоруссии, писал аранжировки, тщательно подбирал стихи и музыку — «Песняры» исполняли как сочинения Пахмутовой, так и опусы других популярных композиторов эпохи и собственно мулявинские мелодии. Сам стихов не сочинял принципиально — говорил, что пробовал, но результат не впечатлил в первую очередь его самого, насколько мягкого в жизни, настолько же безжалостного к чужим и своим промахам в творчестве. Да и запел, между прочим, не сразу — здесь надо поблагодарить певицу Нелли Богуславскую, которой «Песняры», ещё, кажется, будучи «Лявонами», однажды аккомпанировали. *Подойте фразу*, безадресно попросила артистка на репетиции. Откликнулся Владимир Мулявин — чистым, красивым тенором, — и Богуславская изумилась:

— Да тебе ж петь надо!

Мулявин послушался — и пел с той поры наравне с прочими, хотя в главных хитах «Песняров» в основном звучали голоса других солистов. И всё равно хватало единственного взгляда на сцену, чтобы понять, кто у них здесь главный. Конечно, вон тот усатый, который старше всех, —

и с каждым годом становится всё сильнее похож на известный портрет Салтыкова-Щедрина кисти художника Крамского.

В 1970 году «Песняры» затмили всех на четвёртом Всесоюзном конкурсе артистов эстрады в Москве. Народная песня «Ты мне весною приснилась», исполненная в дерзкой современной аранжировке, вынесла Мулявина и его артистов к такой вершине славы, откуда не разглядишь ни прошлого, ни будущего. Музыканты, выступавшие с «Песнярами», то и дело менялись — молодым мужчинам, каждый из которых понимает про себя, что он большой артист, никогда не будет просто работать вместе. Пятьдесят человек прошло через личный отбор Мулявина и горнило сцены — попасть в «Песняры» означало потерять своё собственное имя и стать пусть важной, но всё-таки частью группы. Замены происходили постоянно, с места не трогался лишь творческий руководитель, директор, создатель, главный «песняр» — Мулявин — и те, кто работал с ним с первого дня. С начала 70-х вместе с Владимиром несколько лет выступал его старший брат Валерий.

Чем больше даёт тебе удача, тем больше огни-мает судьба. Хочешь верь в приметы, хочешь не верь, но, когда Мулявин получил квартиру в Минске, новый адрес выглядел так — улица Беды, 13. Посмеялись, переехали.

Слава «Песняров» росла с каждым днём — их называли советскими «Битлз», и, говорят, сам Пол Маккартни сказал однажды о белорусских артистах, что они, дескать, «поют как боги». Хиты шли за хитами — «Беловежская пуца», «Берёзовый сок», «Вологда»... Вся страна пела вместе с ними, а чаще — вместо них, за праздничным столом, в лесу у костра. Со временем песни Мулявина стали истинно народными — выйдя из фольклора, в фольклор и вернулись. Тот, кто черпает вдохновение в народном творчестве, полностью растворяется в этом творчестве — вот здесь и кроется главный секрет успеха «Песняров», превзойти которых не мог в те годы ровным счётом никто.

Свердловск теперь вспоминался всё реже и реже — это была даже не прошлая, а позапрошлая жизнь Владимира Мулявина. Снежные поля, усыпанные кавычками птичьих следов... Людской поток, сливающийся в заводскую проходную, будто в гигантскую воронку... Сад Вайнера на улице Первомайской, где работала танцплощадка... Сюжеты, картины, лица, далёкие от настоящего. Настоящее — слава такого калибра, когда даже партия и правительство вынуждены считаться с мнением руководителя едва ли не главного ВИА страны.

Мулявин бдительно следил за тем, чтобы группа играла на самых лучших из всех доступных

в те годы инструментах, чтобы на гастролях у артистов всё было по высшему разряду. А на репетициях доводил солистов придирками до полного изнеможения, командовал так, что и армейским не приснится. Всё — на результат, всё под ноги успеху.

В 1973 году «Песняры» приехали с гастролями в Ялту, и в день объявленного концерта трагически погиб старший брат Владимира — Валерий. Много разного рассказывают об этой смерти — скорее всего, то был действительно несчастный случай: Валерий сидел на парапете, случайно упал на камни в море с большой высоты. Что делать? Отменять концерт? Администрация уговорила «Песняров» всё-таки выступить перед благодарной ялтинской публикой — билеты были раскуплены заранее, шоу, как говорится, маст гоу он. Последнее слово, как утверждали, оставалось за Мулявиным — и он всё-таки вышел на сцену. Где ещё, как не на сцене, можно спрятаться от судьбы? Спустя многие годы Владимир Шахрин скажет, что сцена — это портал, выход в другой мир, где действуют иные законы. Но судьба не любит, когда её знаков не замечают, — вскоре умерла Наташа, сестра Мулявина, потом не стало одного из основателей коллектива, первопроходца Валерия Яшкина... Испытания, потери, беды шли по пятам за признанием, успехом и славой, и Мулявин уже не понимал, где одно переходит в другое. Спасал-

ся, как все в таких случаях, — работой. Два концерта в день? Несерьёзно. Лучше давайте шесть. Что значит «шутите», какие тут шутки! Именно шесть концертов за один день сыграли «Песняры» во время гастролей в Учкудуке — вообразить сложно, как можно было сделать такое и не рассыпаться в пыль после финальной песни.

Мягкий, спокойный человек, во всём, что имело отношение к творчеству, Мулявин был непреклонной скалой. Предложения выступить в ресторанах отметал решительно — не стану, говорил, петь перед жующей публикой. На чувствах начальства играл, как на своей знаменитой гитаре с двумя грифами. Давить на него было бесполезно: попросили исполнять песни на белорусском, он, не иначе как назло, пел теперь только на русском. Намекнули, что лучше бы убрать из песни «Крик птицы» слова «Ой, Боже ж мой!», а он отказался уродовать песню — и ансамбль наказали, почти на год оставив без зарубежных гастролей. У Мулявина всегда была своя собственная правда, чужая его не интересовала. Запрет в конце концов сняли, и «Песняры» первыми из всех советских групп выступили в Америке.

Через десять лет после первого громкого успеха «Песняров» из коллектива начали уходить музыканты — и не по воле художественного руководителя, а по своему собственному почину. Кто-то переехал в Америку, кто-то посчитал, что Мулявин

не уделяет группе должного внимания. Кто-то утверждал, что Владимир крепко пьёт, да не в святое время «после» концерта, а в запретные «до и во время». К середине 80-х слава «Песняров» заметно потускнела, хотя у группы появлялись и новые песни, и программы, и даже рок-оперы, которыми неожиданно увлёкся Мулявин. С началом перестройки стране резко потребовались другие герои, и легендарный белорусский бэнд ютился теперь где-то на заднем плане. О баснословных заработках, выгодных гастролях и дорогих инструментах теперь не шло и речи — в 1997 году, похоронив последний студийный магнитофон, Мулявин написал записку в министерство и получил в ответ приказ о собственном отстранении от должности директора ансамбля. Владимир остался худруком «Песняров», а место главного занял Владислав Мисевич. Дальше следуют уже совсем неприятные подробности: на имя президента Лукашенко подали записку от ведущих артистов эстрады с просьбой разобраться с ситуацией, Мулявина восстановили в должности, но в ответ на это группу покинули Мисевич и остальные музыканты. Песня первых «Песняров» была спета — Владимир набрал новый состав, отпраздновал тридцатилетие группы в «Олимпийском», получил звезду на Аллее Славы в Москве и орден Франциска Скорины в Белоруссии. Но счастья ему это не принесло — глава о счастье осталась далеко

в прошлом: перечитываешь, изумляясь, да со мной ли всё это было? Не случайно ли я живу на улице Беды, в доме 13?

В 2002 году Владимир Мулявин попал в тяжелейшую автомобильную аварию. Диагноз врача: тетрапарез, повреждение спинного мозга с нарушением функций тазовых органов, закрытый перелом-вывих шестого позвонка, ушибленная рана затылочной области. Он прожил ещё полгода, из Минска его перевезли в Москву в больницу имени Бурденко — проходил курс реабилитации, пытался сам есть, делал попытки встать. Давал интервью. Друзья и поклонники его почти не навещали. По городам и весям бывшего СССР с успехом гастролировали пять групп-клонов, исполнявшие сочинения «Песняров», — они дают концерты и теперь.

Двадцать шестого января 2003 года в возрасте 62 лет главный артист Белоруссии, уралец Владимир Мулявин скончался. Провожали в Москве, хоронили — в Минске. А в родной Свердловск Мулявин вернулся в 2014 году — четырёхметровый памятник артисту установлен у ККТ «Космос». Концертный костюм, электрогитара, под ногами — круглый диск сцены: как та пластинка, которую никак нельзя сменить — будешь крутиться вместе с ней до самой смерти... Скульптурный Мулявин внимательно смотрит на купола Храма-на-Крови, а за спиной его убега-

ет дорога на Уралмаш, где когда-то давно мама, сердясь, спрашивала:

— Ну сколько можно бренчать?

4

Слава приходит двумя путями — короткой дорогой из нескольких шагов или кругосветным перегоном. Та, что выбирает первый маршрут, ведёт себя шумно, как подвыпивший гость, но исчезает зачастую внезапно, без предупреждения. Та, что нарушает все сроки и десятилетиями мнётся на пороге, не решаясь войти, как правило, остаётся на долгие годы. «Чайф» не сразу стал любимой группой в Свердловске, а потом — на Урале, а потом и во всей стране: Шахрин и его музыканты делали шаг за шагом, придерживаясь однажды выбранного курса. Из рядового, пусть и яркого, участника рок-фестивалей (улады свердловских 80-х) к началу 90-х выросли до хэдлайнера, хотя таких слов тогда ещё никто не знал. К финалам сборных концертов весь зал дружно пел «Поплачь о нём, пока он живой», а некоторые так даже и плакали. Песня «Ой-ё» стала народным хитом, общим безнадёжным воем страдающих душ.

Шахрин никогда не считал себя великим и даже просто — поэтом, но его лирическое дарование несомненно, и во многом благодаря этому

каждая новая песня становилась личным переживанием для слушателя. Бегунов научился играть на гитаре не хуже профессионалов с дипломами «чайника», где когда-то шельмовали Мулявина, а теперь пугали первокурсников рассказами о самодельной группе со странным названием. Любимый вопрос журналистов — «Почему группа называется “Чайф”?» — перестал веселить Шахрина ещё в прошлом столетии, и, продвигая группу в первый ряд монстров и зубров отечественного рока, он самолично писал в газеты и журналы о новых альбомах и событиях — под псевдонимом «Терентий Самохвалов». И вообще, он делал для своей группы всё, что мог, и сверх того — искал и находил музыкантов, потому что «Чайф» — это не дуэт, а как минимум квартет, приглашал на работу профессиональных продюсеров, брался за любые новые проекты, порой сомнительные и невыгодные с финансовой точки зрения. А главное — писал новые песни, которые со временем становились народными. Такими, что исполняются в подземных переходах или поются с друзьями, под гитару и бутылку.

В 1990 году на ленинградской студии «Мелодия» вышла первая пластинка «Чайфа», а следом — из года в год с небольшими перерывами — ещё девятнадцать альбомов. Конечно же, Шахрин теперь уже не работал на стройке, а Бегунов не служил в милиции — пролетарское прошлое сме-

нило богемное настоящее, но дух свободы и вседозволенности, царящий в российской рок-культуре, не изменил «чайфов» ни на йоту. Они выступали на передовой во время военных действий в Чечне и Таджикистане, давали концерты в Давосе и Лондоне, каждый год во время гастрольного тура собирали тысячи зрителей по всей стране — от Калининграда до Владивостока, но даже мыслей не имели когда-нибудь уехать из Свердловска. Второй любимый вопрос журналистов — «Почему вы не перебрались в Москву или хотя бы в Питер?». Да потому, что не нужны им ни Москва, ни Питер — ведь дома помогают и люди, и стены.

Главные группы свердловского рок-клуба с приходом новых времён распались на части-частицы — «Наутилус», «Агата Кристи», «Апрельский марш» существуют только в памяти и в записях. И только «Чайф» устоял во всей своей славе — прежде всего потому, что у него был (и есть!) Шахрин. Коллектив музыкантов — словно ещё одна семья, в которой каждый должен смирять гордыню и прислушиваться к мнению другого. Не позволить внутренним конфликтам повлиять на будущее группы, нести ответственность за всех и выбирать верное решение — ежедневное послушание лидера «Чайфа», не говоря уже о таких мелочах, как репетиции и работа над новыми песнями. Рано или поздно их тоже запоят в подземном переходе. Только вчера Шахрин, переходя

улицу Вайнера под землёй, услышал страстное пение молодого чувака, терзавшего гитару:

— Какая боль, какая боль, Аргентина–Ямайка: пять-ноль!

У ног чувака лежала шляпа с монетками — и автор песни полез за кошельком. Ещё одно правило — всегда подавать уличным музыкантам, даже если они безбожно коверкают твои сочинения. Главное, что они в этот момент поют и играют, а не грабят и не убивают.

Чуть дальше в переходе торговали модным нынче винилом — раритетами прежних лет, на которые боялись дышать в 80-е. По иронии судьбы, самые дорогие отечественные пластинки сейчас — те, что не пользовались ровно никаким спросом на Шувакише былых времён: «По волне моей памяти» и два первых диска «Песняров». Хотя здесь, в переходе, предпочтение отдавалось прежним западным идеалам — Шахрин перебирал конверты с пластинками, и это было похоже на встречу со старыми друзьями. Ту голую пластинку с «Пятым Цеппелином», что была приобретена на «туче» за десятку, он слушал много месяцев, пока не решился наконец обменять «*Houses of the Holy*» на что-то новое. Но как было менять, если пластинка без конверта? Оригинального оформления Шахрин в глаза не видывал и попросил помощи у жены — Лена училась в архитектурном и прекрасно рисовала. Вырезки из журналов,

аэрограф из компрессора от холодильника, цветная тушь, перья, умение и старание — получилась довольно эффектная обложка, на которой красовались небоскрёбы. Не забыли даже выходные реквизиты — в общем, такой обложки не устыдились бы сами «Лед Зеппелин»! Наряженную в новое платье пластинку Шахрин с успехом обменял на «туче» ещё на что-то бесценное и желанное и только спустя годы увидел наконец оригинальный конверт «Houses of the Holy»: золотоволосые дети, похожие не то на русалок, не то на инопланетян, ползли по камням нездешнего пейзажа. Каждый раз, подходя к развалам виниловых сокровищ или изучая коллекции друзей-меломанов, он надеялся встретить ту самую пластинку в бесценном палёном конверте хенд-мейд. Жаль, что письма, отправленные самому себе из прошлого, когда ты был молод и никому не известен, редко приходят в будущее, где тебя знает каждый.

И вот он вытаскивает из пачки очередную пластинку — улыбка судьбы, «Пятый Цеппелин» в по-жамканном конверте с золотоволосыми детьми! Между первой встречей на «туче» и нынешним днём в подземном переходе, где чувак исполняет теперь уже «Ой-ё!», немилосердно фальшивя, уместилось столько событий, что хватит, кажется, на несколько жизней. В одной можно менять пластинки ежедневно, в другой слушать одну и ту же, запилив до полной непригодности.

— Тут ещё одна такая есть, — сообщает продавец, вытирая нос варежкой. — Но в самопальном конвертике. Где-то здесь была, ща посмотрю...

...Аплодисменты, поклон — и выходим на бис.

Литература

Имя на камне

Емлин Э.Ф. Очерки истории кафедры минералогии Уральского горного института. — Екатеринбург: УГГУ, 2008. С. 58–125.

Матвеев А.К. Вверх по реке забвения. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1992.

Не просто прожитая жизнь... Биография А.К.Матвеева в документах и воспоминаниях / сост. Т. В. Матвеева. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015.

Пронин Л.А. Уральский геологический музей. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1985.

Партия в поддавки

Бажов В.Е. Воспоминания о дедушке. — Екатеринбург, 2003.

Бажов П.П. Дальнее — близкое. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1989.

Бажов П.П. Малахитовая шкатулка. — М.: АСТ, 2002.

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: в 3 т. — М.: Издательство Агентства печати «Новости», 1986.

Мастер, мудрец, сказочник. Воспоминания о П.П. Бажове. — М.: Советский писатель, 1978.

Михеенков С.М. Жуков. Маршал на белом коне. — М.: Молодая гвардия, 2015.

Павел Петрович Бажов: сб. ст. и воспоминаний / ред.-сост. К.В. Рождественская. — Молотов: Молотовское книжное издательство, 1955.

Дорога в небо

Левин А.Ю. Феномен. Штрихи к портрету Эдуарда Росселя. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2007.

Экономов Л.А. Капитан Бахчиванджи. — М.: ДОСААФ, 1972.

Дом, который...

Быков П.М. Последние дни Романовых. — Свердловск: Уралкнига, 1926.

Ельцин Б.Н. Исповедь на заданную тему. — М.: Синдбад, 2015.

Пихоя Р.Г., Зезина М.Р. и др. Борис Ельцин. — Екатеринбург: Сократ, 2011.

Попова К. Дата сноса засекречена // Российская газета. Урал. Екатеринбург № 4678. URL: <https://rg.ru/2008/06/05/reg-ural/snos.html>.

Сонин Л. Ипатьев из рода Ипатьевых. URL: http://arhipovvv.narod.ru/Dop_persons/Ipatevyh/rod_Ipatevyh_0.html.

Тысяча мелочей

Б.У. Кашкин (1938–2005): Жизнь и творчество уральского панк-скомороха / сост. А. Шабуров. — Екатеринбург:

бург: Уральский филиал государственного центра современного искусства, 2015.

Коляда Н.В. Пьесы для любимого театра. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 1994.

Коляда Н.В. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 1. Рассказы (1978–1987 гг.). — Екатеринбург, 2015.

Лейдерман Н.Л. Драматургия Николая Коляды: Критический очерк. — Каменск-Уральский: Калан, 1997.

Шолохова Е. Рассказы о старике БУКашкине. URL: <http://www.proza.ru/2013/07/30/690>.

Весёлый бог работы

Вознесенский А.А. Стихи. Поэмы. Переводы. Эссе. — Екатеринбург: У-Фактория, 1999.

Дижур Б.А. Избранное. — Оренбург: Оренбургское издательство им. Г.П. Донковцева, 2013.

Матафонова Ю.К. Эрнст Неизвестный. — Екатеринбург: Сократ, 2013.

Матафонова Ю.К. Эрнст Неизвестный: дерево жизни. — Екатеринбург: Пакрус, 2001.

Неизвестный Э.И. Говорит Неизвестный. — Пермь: Пермские новости, 1991.

Неизвестный Э.И. Судьба художника. Скульптура и графика. — Екатеринбург, 2015.

Egeland E. Ernst Neizvestny. — NY: Mosaic Press, 1984.

Глория мунди

Демидовский временник. Исторический альманах. Книга I / сост. А. Черкасова. — Екатеринбург: Демидовский институт, 1994.

Иванов А.В. Горнозаводская цивилизация. — М.: АСТ, 2014.

Книга Екклесиаста, или Проповедника. — Калининград: Янтарный сказ, 2002.

Корепанов Н.С. Первый век Екатеринбурга. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2005.

Кузьмин А.Г. Татищев. — М.: Молодая гвардия, 1987.

Пихоя Р.Г. и др. Книги старого Урала. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1989.

Ройзман Е.В. Жили-были. Стихи. — Екатеринбург: Автограф, 2011.

Рыжий Б.Б. В кварталах дальних и печальных. Избранная лирика. Роттердамский дневник. — М.: Искусство XXI век, 2015.

Сусоров Е. «Кузница кадров» дедушки Мо // Вечерний Екатеринбург, 31 мая 2012.

Татищев В.Н. Собрание сочинений: в 8 т. — М.: Ладомир, 1994.

Унбегаун Б.О. Русские фамилии. — М.: Прогресс, 1989.

Шакинко И.М. Василий Татищев. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1986.

Резниченко Е.Н. Стихи и песенки на всякий случай. — М.: Лингвистика, 2014.

Как сменить пластинку

Владимир Мулявин. Нота судьбы. Воспоминания, интервью, исследования / ред.-сост. Л.А. Крушинская. — Минск: Мастацкая літаратура, 2004.

Шахрин В.В. Открытые файлы. — Екатеринбург: У-Фактория, 2006.

Благодарности

Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне в работе над этой книгой — делился сведениями, передавал для публикации фотографии, вовремя подсказывал нужный адрес и находил ту самую статью, без которой никак нельзя было обойтись.

Отдельное — и огромное! — спасибо Александру Дроздову, Елене Шубиной, а также Алексею Иванову, Виталию Воловичу, Николаю Коляде, Александру Левину, Владимиру Шахрину, Дмитрию Карасюку, Евгению Ройзману, Наталье Тюленевой, Ольге Вутирас, Тамаре Матвеевой, Дмитрию Колбину, Евгению Воловичу, Георгию Григорьеву, Александру Шабурову, Кате Шолоховой, Виктору и Елене Кямкиным, Эке Вашакидзе, Анне Мкртчян, Эдуарду Росселю, Жанне Коршуновой, Анатолию Семехину, Юлии Ильницкой, Ксении Хоробрых, Анне Колесниковой. Ну и, конечно, всем персонажам этой книги!

Автор и издательство также благодарят за предоставленные фотографии Марину Голомидову, Игоря Верещагина, Андрея Федечко (www.fedechko.com), Екатеринбургский государственный театр оперы и балета, Музей им. Героя СССР лётчика-испытателя Г.Я. Бахчиванджи при МАОУ СОШ № 60, Президентский центр Б.Н. Ельцина, фотоагентство «Восток-Медиа» (www.vostock-photo.com)

Литературно-художественное издание

Матвеева Анна Александровна

ГОРОЖАНЕ

**Удивительные истории
из жизни людей города Е.**

Рассказы

16+

Заведующая редакцией Елена Шубина

Редактор Анна Колесникова

Корректор Елена Рудницкая

Компьютерная верстка Елены Илюшиной



<http://facebook.com/shubinabooks>



<http://vk.com/shubinabooks>

Подписано в печать 14.10.16. Формат 84x108/32
Усл. печ. л. 18,48. Тираж 4000 экз. Заказ № 7961

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

ООО «Издательство АСТ»

129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 3, комн. 5

Наш электронный адрес: www.ast.ru

E-mail: astpub@aha.ru

«Баспа Аста» деген ООО

129085 г. Мәскеу, жұлдызды бульвар, д. 21, 3 кұрылым, 5 бөлме

Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru

E-mail: astpub@aha.ru

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.

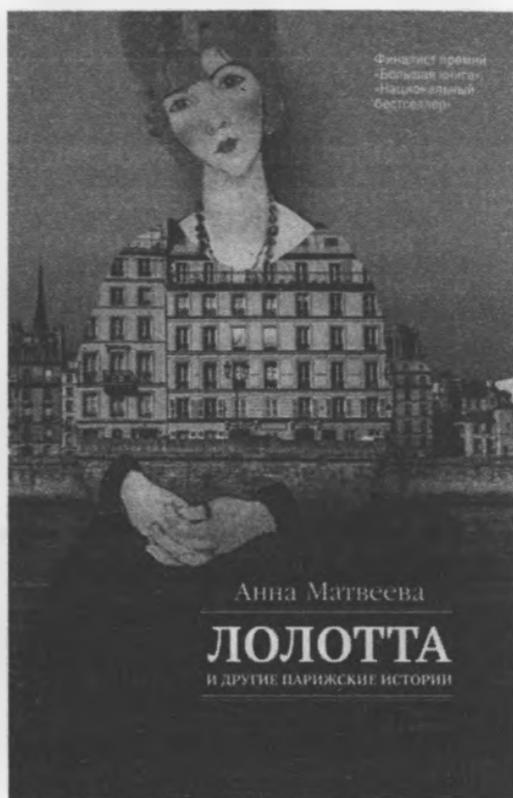
Тел.: +7 (727) 251 5989, 90, 91, 92, факс: +7 (727) 251 5812, доб. 107

E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген

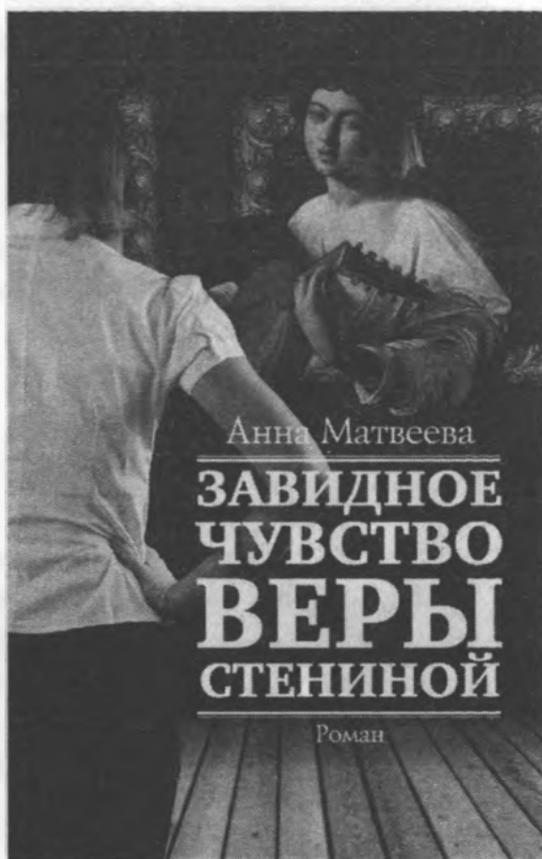
Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

Отпечатано с готовых файлов заказчика в АО «Первая Образцовая типография», филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



Новый сборник прозы Анны Матвеевой «Лолотта» уводит нас в Париж. Вернее, в путешествие из Парижа в Париж: из западноевропейской столицы в село Париж Челябинской области, или в жилой комплекс имени знаменитого города, или в кафе всё с тем же названием. В книге вы встретите множество персонажей: Амедео Модильяни, одинокого отставного начальника, вора, учительницу французского, литературного редактора, разочаровавшегося во всём, кроме родного языка...

У каждого героя «Лолотты» свой Париж: тот, о котором они мечтали, но чаще тот, которого заслуживают.



В романе Анны Матвеевой «Завидное чувство Веры Стениной» рассказывается история женской дружбы-вражды. Вера, искусствовед, мать-одиночка, постоянно завидует своей подруге Юльке. Юльке же всегда везёт, и она никому не завидует, а могла бы, ведь Вера обладает уникальным даром — по-особому чувствовать живопись: она разговаривает с портретами, ощущает аромат нарисованных цветов и слышит музыку, которую играют изображённые на картинах артисты...

Роман многослоен: анатомия зависти, соединение западноевропейской традиции с русской ментальностью, лёгкий детективный акцент и — в полный голос — гимн искусству и красоте.

Анна Матвеева – автор романов «Перевал Дятлова, или Тайна девяти»,
«Завидное чувство Веры Стениной», сборников рассказов
«Подожди, я умру – и приду», «Девять девяностых»,
«Лолотта и другие парижские истории».
Финалист премий «Большая книга», «Национальный бестселлер».

Книга «ГОРОЖАНЕ» – это девять новелл, восемнадцать героев.
Один необычный город глазами Анны Матвеевой: лицом к лицу.
Здесь живёт драматург с мировым именем Николай Коляда,
родился великий скульптор Эрнст Неизвестный,
встретились когда-то и подружились опальный маршал Жуков
и знаменитый уральский сказочник Бажов.

Владимир Шахрин – ещё не ставший лидером
легендарной группы «Чайф» – меняет пластинки на барахолке,
Евгений Ройзман – будущий мэр – читает классиков
в тюремной камере; на улицах эпатирует публику
старик Букашкин – незабываемое лицо города.

Ещё стоит нерушимо Ипатьевский дом – место казни
императорской семьи, а будущий хозяин города Борис Ельцин –
пока только студент.

Новая книга Анны Матвеевой о всех них – людях, домах,
историях города Е. Парные портреты ярких личностей
соединяют дальние века и рифмуются судьбами.



Библио-Глобус

Москва, Мещеряков, 6/3, стр.1, т.е
http://biblio-globus.ru

781-19-00

828-35-67

824-46-80



Матвеева А. Горожане

Цена: 469,00